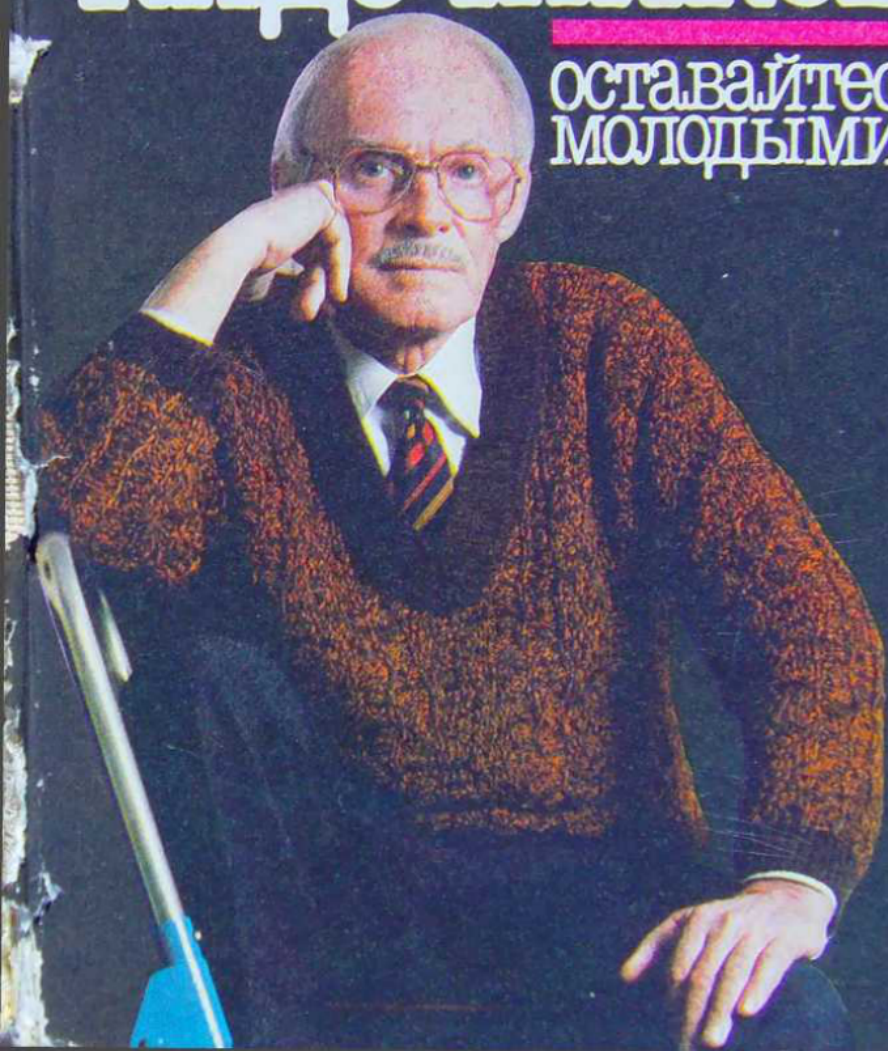


ПАВЕЛ КАДОЧНИКОВ

ОСТАВАЙТЕСЬ
МОЛОДЫМИ





Annotation

Книга известного киноактера, народного артиста СССР П. П. Кадочникова, обращенная к молодежи, рассказывает о творческом пути артиста, его работе над созданием таких образов, как Солдат в «Человеке с ружьем», Алексей Мересьев в «Повести о настоящем человеке», Максим Горький в фильмах «Яков Свердлов», «Педагогическая поэма», «Пролог» и другие. Мысли автора, высказанные на страницах книги, несомненно, внесут свой вклад в эстетическое и нравственное воспитание молодого поколения.

Издание иллюстрировано и рассчитано на широкий круг читателей.

- [Путь мастера](#)
- [Крылья «Буревестника»](#)
- [Родная и сердечная...](#)
 - ☐ [Родная и сердечная...](#)
 - ☐ [Молодость играет стариков](#)
- [Считай себя солдатом](#)
 - ☐ [Считай себя солдатом](#)
 - ☐ [Истоки подвига разведчика](#)
 - ☐ [Урок героя-панфиловца](#)
 - ☐ [Как стать настоящим человеком](#)
 - ☐ [«Я обязан вам жизнью!..»](#)
- [Язык мира один](#)
 - ☐ [Язык мира один](#)
 - ☐ [Родство](#)
- [Вера в человека](#)
 - ☐ [«Сыграйте на счастье!..»](#)
 - ☐ [Счастливый дар](#)
 - ☐ [Березки](#)
 - ☐ [Любовь Орлова](#)
 - ☐ [Излучающая радость](#)
 - ☐ [Глаза героя](#)
 - ☐ [Забытые таланты](#)
 - ☐ [Вера в человека](#)
 - ☐ [Мой старший товарищ](#)
 - ☐ [Лучший рассказчик](#)
 - ☐ [«Спасибо, пионерия! спасибо, комсомол!..»](#)
- [С любовью к природе](#)
 - ☐ [С любовью к природе](#)
 - ☐ [«Робинзон» и «Пятница»](#)
 - ☐ [«Немножечко сердечного тепла»](#)

- Гроздь красной рябины
 -
 - Мама
 - Отец
 - Мои корни
 - Прообраз Поливанова
 - Первое признание народа
 - «Проклюнулись!...»
 - Учитель жизни
 - Гроздь красной рябины
 - Когда пошатнулось небо
 - От черной речки
 - Слово Сергея Мироновича
- Оставайтесь молодыми
 - Жажда доброты
 - Никогда не старейте душой!
- Фотографии

Путь мастера

Глубоко убежден, что эту книгу любимого народом артиста, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственных премий СССР Павла Петровича Кадочникова истинные ценители искусства ждали давно.

Давным-давно, мальчишкой, смотрел я впервые фильм «Подвиг разведчика», но образ Алексея Федотова, талантливо созданный Павлом Кадочниковым, и по сей день до малейших черточек вижу перед собой.

Киноленту эту и сегодня иногда показывают по телевидению. И, уверен, миллионы зрителей так же, как и я, не могут оторвать взгляда от экрана. И это неудивительно. Настоящее искусство волнует всегда.

Вспоминаю время, когда «Повесть о настоящем человеке» только вышла на экраны. Нам, мальчишкам, перевалило тогда за десять. Думали: «Кем же стать?» И вдруг увидели на экране Алексея Мересьева. Все мы ахнули от изумления: «Вот это герои! Таким надо быть, как Алексей Мересьев!»

А глубокие размышления Алеши Мересьева и Петрова, эти философские раздумья двух молодых людей! Они хорошо понимали, что и кого защищали, зачем идут на войну. В этих размышлениях — целый философский мир людей нашего времени. С годами эти образы понимаешь еще глубже.

Но уже тогда, посмотрев «Повесть о настоящем человеке», а перед тем несколько раз прочитав книгу, на основе которой был создан фильм, я решил, что лучше профессии не может быть, чем профессия летчика. И я пошел этой дорогой.

Вот почему на встрече с Кадочниковым в Звездном городке я сказал со сцены Дворца культуры: «Дорогой Павел Петрович! Вот в этих Золотых Звездах, что у меня на груди, очень большая частица и вашего труда, души. Вы мне дали путевку туда — к небу и звездам. И это не только мое мнение, по и многих моих товарищей. Большое вам за это спасибо!»

Бывает же такое счастливое совпадение: Павел Кадочников учился в юности рабочему делу на том же знаменитом революционными и боевыми традициями Путиловском, а ныне Кировском, заводе, где в год Октябрьской революции выступал Владимир Ильич Ленин, где работал родной дед первого космонавта Земли Тимофей Матвеевич Матвеев, где проходил производственную практику его внук Юра Гагарин, где всегда радовались встрече с матерью космонавта Анной Тимофеевной Гагариной и где так радушно после космических рейсов

встречали нас с Юрием Гагариным!

Скажите, почему у нас не вызывает ни малейшего сомнения, что Ордынцев и Ратанов из фильмов «Балтийская слава» и «Голубые дороги» — эти совершенно разные по характеру и по времени событий люди — настоящие капитаны морских кораблей? А ведь играет их один и тот же человек — Павел Кадочников!

Почему, когда мы видим, как командир «Грома» Ордынцев ведет свой эсминец в бой, мы не сомневаемся, что он, возможно ценой собственной жизни, защитит, спасет и русский флот на Балтике, и Петроград в 1917 году?

Почему с замиранием сердца следим в «Голубых дорогах», как Сергей Ратанов очищает голубые дороги Черного моря от фашистских мин?

Талант артиста? Безусловно. Но дело еще, конечно же, и в упорном освоении искусства кораблевождения, в изучении опасного дела минеров, в глубоком постижении характера, психологии советских военных моряков. Не случайно же Павел Петрович Кадочников — жрланпый гость моряков всех флотилий нашей Родины.

А его отношение к профессии летчика! По моему и моих коллег глубокому убеждению, он рожден был стать летчиком-космонавтом. Говорю об этом совершенно серьезно. Вы только загляните Алеше Мересьеву в глаза, когда он снова возвращается в небо, и сразу увидите в них радость полета. А радость полета в небо, к звездам сыграть нельзя, как нельзя сыграть верность сына матери-Родине, счастье сына Земли. Этим надо жить, дышать, это надо чувствовать каждой клеточкой своего существа так, как живет этим Павел Кадочников.

Более ста ролей в послужном списке Кадочникова. Да каких ролей! Только их перечень занял бы несколько страниц, А в последнее время мы узнали Павла Кадочникова не только как киноактера, но и как режиссера-постановщика.

Каждый из нас избрал одну профессию, одну дорогу. На первый взгляд и Павел Кадочников в юные годы выбрал себе одну профессию, один путь — путь искусства. Но это лишь на первый взгляд. А когда приглядишься пристальнее к пройденному им пути, когда прочтешь страницы этой книги, подумаешь: не затем ли он избрал профессию артиста, чтобы своим задушевым голосом, добротой своего сердца, ярким талантом, волшебством своего перевоплощения воспеть красоту всех земных профессий? Не ради того ли он выбрал путь искусства, чтобы постоянно, неумоимо идти вперед, увидеть весь мир и помочь нам разглядеть и понять красоту природы, характера, душу каждого

живущего на нашей планете?

В книге Павла Петровича Кадочникова мое внимание привлекли особенности изложения материала. Читая записки, воспоминания артиста, и вы наверняка заметите, что автор очень часто отождествляет себя с героями, которых в свое время воплотил на экране. И вот перед вами со страниц книги встает уже Павел Кадочников — Алексей Федотов или Павел Кадочников — Алексей Мересьев. Актер и герой, которого он играет, слились в одно лицо — столь глубоко и остро чувствует исполнитель каждую свою роль, столь глубоко он проникает в ее суть, в ее тонкости. Поначалу такой прием изложения материала даже несколько озадачивает, но постепенно к нему привыкаешь, и весь текст воспринимается органично и естественно.

Хотелось бы также отметить и другой, на мой взгляд, существенный момент, который подметит внимательный читатель. В книге Кадочникова чаще всего рассказ ведется — в настоящем времени. В такой форме повествования, думается, нет ничего удивительного. Сам автор видел в ней своеобразный кинематографический прием. Мы подчас как бы читаем сценарий книги его жизни. Конечно же, вы не найдете ответы на все вопросы, связанные с творчеством Кадочникова. Ведь в театре и кино он работал более пятидесяти лет. Но уверен, что знакомство с творчеством артиста такого широкого творческого диапазона, каковым является Павел Петрович Кадочников, даст возможность еще лучше понять характер его дарования.

Когда книга Павла Петровича Кадочникова находилась в работе, пришло горестное сообщение — ушел из жизни большой и самобытный художник, скромный и отзывчивый человек, долгие годы остававшийся любимым актером миллионов людей.

Актер самозабвенно отдавал людям свое доброе сердце, щедрый талант. Сыгранные им роли — мужественные и лирические, романтические и комедийные — проникнуты теплой человеческой интонацией, окрашены обаянием личности мастера.

Хочу надеяться, что эта книга станет доброй памятью о большом Артисте.

АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ,

летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза

Крылья «Буревестника»

Мой юный читатель!

Эту исповедь мне хочется начать с воспоминаний об одной из самых ответственных и, пожалуй, самой трудной для меня работы в молодости — работы над образом Алексея Максимовича Горького в кинокартине «Яков Свердлов» С. И. Юткевича и в спектакле «Большевик» Б. В. Зона.

Сергей Иосифович Юткевич поручил мне сыграть в картине «Яков Свердлов» еще и рабочего паренька с Мотовилихинского завода — Леню Сухова. Такое предложение, как мне кажется, мог сделать режиссер, подбирающий артистов на роли не только по признакам типажа, а глубоко понимающий прежде всего природу актерского мастерства.

Даже очень строгие зрители и кинокритики называли Леню Сухова моей творческой удачей. И все же процесс работы над этой ролью был значительно легче, поиски образа намного проще. Почему? Да потому что жизнь уральского паренька в какой-то мере перекликалась с моей собственной.

Леня Сухов приезжает в Москву с Урала в простенькой одежонке, поношенном отцовском кожаном картузе, некрашенных рыжих сапогах, с выцветшим обшарпанным сундучком, обитым железными полосками.

Я тоже в свое время приехал в Ленинград с Урала приблизительно в таком же виде: в потрепанной суконной фуражке, лапоточках, с котомочкой за плечами.

Леня Сухов разговаривал с ярко выраженным уральским напевом. Точно такой же уральский выговор с напевностью речи долгое время служил мне препятствием для поступления в театральное учебное заведение. Тогда я говорил вместо «тут», «там» — «туточки», «тамочки», вместо «слякоть» — «шлякоть» и тому подобное.

Да и весь мой облик вполне годился без всякого грима для исполнения роли Лени Сухова. Мне оставалось в скромном образе рабочего паренька выразить любовь народа к Якову Михайловичу Свердлову.

Трудно ли это? Нет. Ведь этот удивительный человек, сгорев, оставил после себя яркий, неугасимый свет пламенного большого сердца. Как же можно нам не любить его?

Режиссеру и оператору необходимо было только точно передать подлинные человеческие чувства, почти подлинные переживания актера. Правда, это не так просто. Не всякий режиссер, говоря откровенно, может отбирать необходимое.

А вот со второй моей ролью в этой киноленте дело обстояло куда сложнее. Постоянно не давали покоя мысли: «Как же играть Горького — великого русского пролетарского писателя, человека необычайного таланта? С чего начать? Как приступить к такой сложной задаче? Как добиться того, чтобы зритель, взыскательный, внимательный и благодарный, выходя из кинотеатра, сказал: «Сегодня я познакомился с молодым Горьким»?

Конечно же, я стал разыскивать людей, которые лично знали А. М. Горького или хотя бы видели его, слышали его выступления.

Рассказы очевидцев очень помогли мне. Но этого было явно мало. Ведь большинство пыталось рассказать мне о внешних, так сказать, признаках характера Горького: как он ходил, садился за стол, брал ручку и писал, расчесывая свою непокорную шевелюру десятью пальцами, как открыто и громко хохотал, за что товарищи называли его «грохало».

Один из ныне здравствующих писателей советовал мне обратить внимание на то, как Горький в задумчивости барабанил пальцами по столу, отбивая замысловатые ритмы. Почтенный писатель картинно запрокидывал голову назад, садился за письменный стол, подперев левой рукой подбородок, и, очевидно, очень похоже начинал копировать Горького.

Поблагодарил писателя за совет, но расстался с ним с чувством горечи. «Неужели, — думал, — он только это и запомнил, лишь это вынес из общения с таким замечательным художником? Нет, как бы я ни садился, как бы похоже ни изображал Горького, образ великого писателя из этого не получится. Надо искать что-то другое. Необходимо отыскать то, что окрыляло в жизни и Горького, и его «Буревестника».

Вспомнился мудрый совет Гоголя: «Прежде всего нужно схватить душу роли, а потом платье ее». Значит, надо попытаться понять цель жизни мастера. Что же является смыслом жизни великого писателя? Безусловно, его произведения.

Но предположим, что артист, желающий воплотить его образ в кино, прочитал все, что написал Горький, что написано о нем. Естественно, в какой-то степени я понял душу писателя, в какой-то мере познал смысл его жизни. Но как сыграть все это? Ведь играют поступки, действие. Как из всего мною понятого вылепить действующий образ? Как слить воедино внешние черты характера с внутренней сущностью, с душой?

Своими сомнениями решил поделиться с другом автора «Буревестника» — Емельяном Михайловичем Ярославским. Он внимательно выслушал меня, лукаво и добродушно улыбнулся в седые усы:

— Значит, Горького хотите играть?

— Горького, товарищ Ярославский.

— Писателя?

— Писателя, — отвечаю смущенно.

— Ну, что же, молодой человек, — вполне серьезно советует Емельян Михайлович, — начинайте писать.

Окончательно растерявшись от такого ответа, переспрашиваю:

— Что, простите, я должен делать?

— Вы же писателя собираетесь играть. Вот я вам и рекомендую попытаться начать писать.

Подумав и немного осмелев, задаю ему коварный вопрос, желая вовлечь в дальнейший разговор:

— Сегодня мне предстоит играть писателя. И, по вашему совету, я сам должен стать писателем. Завтра мне поручат другую роль, допустим, зубного врача. И что же? Для приобретения некоторого опыта мне нужно будет найти пациента и удалить у него зуб?

Емельян Михайлович громко рассмеялся:

— Нет... Зачем же рвать зуб? Не пытайтесь, пожалуйста, если вы этого делать не умеете, но вот инструменты зуболюбческие в руках подержать обязательно надо, В клинику зайти, мне думается, вам тоже не мешало бы. Посмотрите, как там больные приема ожидают. Это вам очень много даст.

«Подержать в руках инструмент». Как часто в своей жизни артиста я буду с благодарностью вспоминать это образное пожелание верного друга Горького!

— А сейчас начинайте писать, — повторил Е. М. Ярославский. — И если вам удастся почувствовать радость, хотя бы немного похожую на радость творчества, — вот тогда положите на руку горьковского «Буревестника» и попробуйте его прочитать. Вам уж не надо будет играть радость, изображать ее. Она — в вас! Вы заработали ее в процессе, очень похожем на процесс творчества.

Ну, конечно, думаю, вдохновение само не придет. Верно говорил Станиславский, что вдохновения можно долго ждать, а оно может все-таки не прийти. Да, да, надо самому расположить душу «к живому восприятию впечатлений». На репетицию я должен прийти с живым, трепетно бьющимся сердцем.

Но о чем же мне писать? О том, что люблю больше всего. А о чем я не могу говорить без волнения? О ком я не могу даже думать без волнения? Да, конечно же, о моем родном городе.

Я очень люблю мой Ленинград. Люблю за то, что родился в доме на улице Зодчего Росси. За то, что мой город необычайно

красив. За то, что архитектура его подобна музыкальным аккордам, что в Ленинград приходят белые ночи. За то, что на Неве стоит «Аврора», с которой был дан первый залп по Зимнему дворцу, возвестивший миру о начале новой эры — эры Справедливости, Братства и Счастья честных людей Земли. Люблю за то, что по улицам города ходил Ленин!

...Город не спит.

По набережной, обняв друг друга за плечи, идут студенты. Они поют веселую песню из репертуара хора имени Пятницкого. Поют хорошо — на три голоса.

Я жадно вслушиваюсь в песню и думаю о том, что, может быть, еще лучше она звучала бы в широких полях деревенского простора... Нет, песня чудесно звучит и на гранитных набережных Невы.

Вдоль деревни, от избы и до избы,
Зашагали торопливые столбы, ох! —

звонко поют девушки.

Меня охватывает необъяснимое чувство радости, гордости за свой прекрасный город, где любимая народом песня так же легко, свободно и величаво льется, как эта, воспетая поэтами, река.

«Ох, — думаю, — какая подо мной течет Нева! Будто накрытые тончайшим тюлем, замерли, как часовые, Ростральные колонны. Налево — Зимний дворец, направо — Петропавловская крепость, а с вышины, с небес, смотрит на город золотая голова Исаакия».

Поворачиваюсь в другую сторону — вижу решетку Летнего сада.

«Не о них ли, — думаю, — писал Пушкин:

Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла...»

Взволнованный стихами Пушкина, красотой своего любимого города, белой ночью и тем, что буду играть Горького, думаю о том, что, может быть, это волнение и можно назвать

«расположением души к живому восприятию впечатлений» — вдохновением?

Взволнованный прихожу домой, распаиваю окно, кладу на стол лист бумаги, беру перо. Смотрю в окно и пишу:

Это — не ночь!

Эти два слова сейчас для меня кажутся самыми важными.
Подумал — написал еще два слова:

Это — не день!

И — дальше:

Солнце? Нет.
Луна? Нет.
Как ярко светит,
Как зябко мне.
И словно во сне —
Я иду? Нет.
Я плыву? Да.
Хорошо б всегда.
Какие же сны!
Не узнать луны!
В летнюю ночь она —
В белую ночь луна —
Ласки нежной полна:
Ты тоже в него влюблена!
Город, красавец мой,
Сегодня и ты молодой!
Сегодня Нева под луной
Блестит золотой волной!
Нет!
Не сегодня!
Всегда!

Я отлично понимаю, что это «стихотворение» можно читать только из уважения к труду артиста. Но сколько оно мне принесло радости! Мелькнули даже честолюбивые мысли: «А не прочесть ли: его товарищам? Может, в стенгазету?»

Стучу соседке в комнату и взволнованно шепчу:
— Елена Викторовна! Идите сюда, скорее!

— Что случилось? — спрашивает она.

И я читаю ей первое свое творение.

Пожав плечами, она уходит: видимо, не поняла, в чем тут дело.

А я, радостный, вышагиваю по комнате и думаю: «Может, я зря поступил в театральную школу? Не лучше ли было пойти на литературный факультет? Не гублю ли я в себе способности литератора?»

Мне хотелось выскочить на улицу и первому встречному прочитать это нечто похожее на стихотворение. Возможно, так бы я и поступил.

Но к счастью, вовремя вспомнил мудрые слова Пушкина о том, что восторг непостоянен, непродолжителен — и поэтому не в силе произвести истинное великое совершенство. «Значит, потому и не поняла соседка мое творение, что оно несовершенно», — рассмеялся я.

Но состояние глубокого трепетного волнения не покидало меня. Хотелось читать стихи, и я взял в руки «Буревестника». Как-то сами собой вспомнились рассказы очевидцев о Горьком, фотографии, дружеские шаржи.

И — произошло чудо: я почти физически услышал, как внутренний голос подсказывал мне: «Так, так сидел, ходил и читал свои стихи Горький. Одно плечо выше, другое — чуть ниже. Голову держит, как будто смотрит куда-то вдаль. Голос чуть сипловат. Говорит волжским напевом на «о». В некоторых словах выкидывает гласные. Скажем, «Дядя Миша пошел на охоту» он говорит: «Дядя Миш пошел на охот».

И я начал читать «Буревестника» с волжским выговором — так, как если бы написал его сам. Ведь Станиславский говорил, что всякое искусство начинается с «если бы»!

«Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии надобный».

Я побывал в других обстоятельствах жизни, «подержал в руках инструмент» — и душа моя распахнулась «живому восприятию впечатлений».

Теперь, мне кажется, я ухватил «душу роли». Не только понимаю, как сливаются воедино внешний облик человека и его внутренний мир. Теперь я вижу, как широко расправлены крылья буревестника, как прочно опираются они на встречные порывы упругого ветра, как легко, играючи, гордая и смелая птица касается острым кондом крыла пенистых, в изумрудных брызгах гребней волн. Теперь я всем сердцем слышу «радость в смелом крике «пророка победы»: «Пусть сильнее грянет буря!...»

Родная и сердечная...

Родная и сердечная...

Скажите, сегодняшние и вчерашние мальчишки и девчонки, сегодняшние и вчерашние школьники, кого мы чаще всего вспоминаем добром в жизни?

Да, конечно же, маму и первую учительницу или учителя. И каждому из нас кажется, что это о его учительнице сложили песню:

Но где бы ни бывали мы,
Тебя не забывали мы,
Как мать не забывают сыновья.
Ты — юность наша вечная,
Простая и сердечная,
Учительница первая моя!

Многое уступает Память безжалостному Времени, многое вычеркивают из Памяти годы и расстояния, но добрые глаза матери и первой учительницы Память хранит с очень раннего детства и до окончания наших дней.

...Морозный уральский декабрь. Бикбарда. Мне еще нет и семи лет от роду. Мама собирается в соседнюю деревню Амур, к деду Микише, за лошадью — дров из леса привезти. Уходя, внимательно смотрит на меня ласковыми печальными глазами:

— Ты уже большой, Павлуша. Будь умницей. Слушайся, сыпок, бабушку.

Беспризорную, хворую зобной болезнью бабушку Тарутину моя мама приютила и жалеет ее, как родную мать.

И вот мы остаемся вдвоем. Стар да мал. Коротаем зимнее время. Каждый занят своим делом. Бабушка чистит картошку, а я поудобнее усаживаюсь на холодный подоконник, чтобы хорошенько увидеть все, что творится на улице.

В глазок сказочно разрисованного морозом окна замечаю, как рядом с сидящими на снегу воробьями упал сучок — и серые живые комочки вспорхнули и сели на куст в соседнем огороде. Это их спугнули мальчишки из деревни Суюрка.

Хорошо вижу в мой маленький глазок, что это они. В школу идут. Почти у всех одинаковые полушубки, лапоточки татарского плетения помельче и носки поуже. У всех сумки из мешковины, а в сумках книжки, тетрадки...

В школе и мой старший брат Коля.
Как хочется и мне учиться!

«Я тоже скоро пойду в школу, — успокаиваю себя. — У меня тоже скоро будут книжки, тетрадки. Я ведь тоже знаю буквы. Не верите? Знаю!»

И старательно, отморозив указательный палец, я все-таки оттаял на стекле все, что умел писать: две буквы — А и У. Отогрев дыханием палец, повторил — оттаял их в обратном порядке.

Уверенный, что бабуля сейчас ахнет от удивления, радостно кричу:

— Бабушка, гли-ко, что вышло: АУ! УА!

Но в ответ слышу ее ворчание:

— Отойди от окна-то, не балуй! Грамотей мне тоже выискался. Вот уж мать-то придет. Вот она уж тебя, мать-то, сведет к Антониде-то Васильевне. Вот она уж тебя, Антонида-то Васильевна...

Не сказала бабка Тарутина, что сделает со мной школьная учительница. Но по тону ее угроз догадываюсь, что встреча с Антониной Васильевной не сулит мне ничего хорошего.

«А может, бабушка просто запугивает, страшит меня? — мелькнула другая догадка. — Ведь она и мамой меня пугает, а мама всех нас так жалеет. Да и ворчит бабуля незлобиво, а просто так, для порядка. И все же... какая она, Антонина Васильевна? Если и вправду тоже ворчливая, то, видно, такая же старая и очень похожая на бабку Тарутину».

Поэтому среди мелкой рассыпанной на столе картошки я отыскиваю большущую. С головой и туловищем. По бокам туловища прилепились два отростка — очень похожие на раскинутые в стороны руки. Выдергиваю из веника соломинку, втыкаю ее в один из отростков — получилась толстущая бабка с грозно поднятой хворостиной.

Долго рассматриваю картофелину со всех сторон. Затем ставлю ее в центре рассыпанной картошки, потом сбоку... Наконец, всю мелкую картошку ставлю рядами, а перед ними — картошину с хворостиной.

«Теперь, — думаю, — это похоже на школу. Маленькие картошинки, стоящие рядами, — ученики, а вот эта, толстенная с хворостиной, — учительница Антонина Васильевна, очень похожая на...»

Увесистый подзатыльник бабки Тарутиной прерывает мои мысли, отгоняет фантазию и отбивает желание сегодня по скрипучему снегу бежать за братом Колей и другими мальчишками в школу.

Но как же я был приятно разочарован и удивлен, когда солнечным осенним днем 1923 года — уже настоящим

первоклассником! — увидел свою учительницу Антонину Васильевну Харлову голубоглазой красивой девушкой с тугой, длинной косой.

«Может, она лишь с виду хорошая, а чуть что — берегись? — мелькнуло недоброе сомнение. — Не зря же бабушка Тарутина говорила?»

Вскоре, как снег под солнечными лучами, растаяли и мгновенно испарились и эти недобрые мысли.

В детстве я рос непоседой, а точнее сказать — отчаянным озорником. По себе находишь и друзей. Однажды в первом классе на перемене мы до того расшалились, что, бегая между партами друг за другом сломя голову, нечаянно — о, ужас! — налетели и больно ушибли нашу дорогую Антонину Васильевну.

Испугавшись, друг пулей вылетел из класса. А мне стало так совестно, что я, покраснев как рак, подошел к учительнице, извинился. И, опустив голову, стою, жду справедливого наказания.

«Как же, — думаю, — она будет сейчас меня наказывать: подзатыльником, как бабка Тарутина, или, как в соседнем классе учительница, больно ударит линейкой?»

Жду, переминаюсь с ноги на ногу, а она не наказывает. Поднимаю голову и вижу такие добрые глаза, в которых — без единого слова нудного назидания! — безошибочно прочел:

«Я сама была первоклашкой такой же непоседливой и озорной. Ты же ведь нечаянно налетел на меня. Так за что ж тебя наказывать? Просто будь внимательнее — вот и все».

Такой и запомнилась она мне на всю жизнь: молодой, красивой, доброй. До сих пор ощущаю тепла ее горячей мягкой ладони, в которую она помещала мою ладошку вместе с карандашом и терпеливо помогала красиво выводить в тетрадке по слогам слова: «Ма-ма», «Па-па», «Ро-ди-на».

Точь-в-точь как в той песне.

...В декабре 1951 года, уже известным киноактером, приезжаю в Пермь, и эти воспоминания детства удивительно ярко воскрешает память. Почему? Возможно, потому, что так же, как и в тот памятный зимний день, на дворе очень крепкий морозец и так же ярко светит солнце.

Может быть, оттого, что, несмотря на сильный мороз, воробьи, как и в том, далеком году, радостно чирикают.

Чувство приятной, ясной грусти наполняет меня потому, что я нахожусь в тех самых краях, где провел счастливое и вместе с тем полное трудностей и лишений детство.

Я не был здесь много лет. И вот теперь, через несколько часов, буду выступать в самом лучшем пермском Дворце

культуры.

— Выйди-ка в вестибюль, — говорит мой товарищ. — Тебя там какая-то старушка спрашивает. Говорит, знает, тебя.

Выхожу. Действительно, меня ждет старушка. Очень маленькая старушка. В котиковой шубке, котиковой шапочке, из-под которой выбиваются седые пряди волос.

Подхожу к ней. Она спокойно берет меня за руку и смотрит в глаза. Что-то очень знакомое в этих красивых больших и совсем не старых глазах... В них вижу что-то такое, от чего вдруг часто-часто бьется сердце.

— Боже мой, боже мой, Павлик-то какой большой стал, — говорит она.

— Антонина Васильевна! — почти выкрикиваю я. — Родная моя «картошина с хворостиной»!

— Что? — строго спрашивает Антонина Васильевна. Потом вынимает из сумочки платочек и прикладывает его к глазам.

Мы с Розалией Ивановной просим Антонину Васильевну остаться с нами. Она соглашается. Всегда общительная и деликатная, она быстро находит общий язык с моей женой. Смотрю и радуюсь, что так скоро они сдружились. До поздней ночи не можем наговориться.

Вспоминаем Бикбарду, Амур, наши школьные экскурсии в Троегубовку, где смотрели на трехлемешный плуг как на величайшее достижение в сельском хозяйстве, слушали удивительный инструмент — фисгармонию.

Все вспоминаем: и сосняк, и наш бикбардинский пруд. Он казался мне в детстве без конца и без края, а был всего лишь четыре километра в длину. Припоминаем восходы и заходы солнца, даже запахи трав и цветов, ожоги крапивы... Все мое трудное и милое детство проплывает перед глазами. Я вновь ощущаю вкус горькой редьки, заячьей капустки и перстянки, вкус парного молока и запах только что вынутого из печи хлеба.

Внимательно слушаю неторопливые рассказы, мелодичный голос моей первой учительницы. И чувствую, будто с меня слетает какая-то ненужная шелуха, и я становлюсь чище, человечнее, добрее.

Но вот Антонина Васильевна извлекает из сумочки, как из шкатулки памяти, и нашу общую фотографию класса. Первого класса бикбардинской школы с агрономическим уклоном.

— Дайте, дайте скорее в руки!

— Подожди, не торопись, — с нарочитой строгостью говорит Антонина Васильевна. — И когда это ты научишься не спешить? Ведь, кажется, сообразительный мальчик, а сколько из-за своей торопливости ошибок делаешь! Ты лучше ответь мне на вопрос:

кто это?

И Антонина Васильевна показывает мне на мальчика в первом ряду слева:

— Не узнал?

В веснушчатой физиономии с хмуро насупленными бровями, конечно же, узнаю своего закадычного друга Леню Новикова. Стоит он перед моими глазами всегда босиком, одна штанина выше, другая — ниже, огненно-рыжий. Масляником мы его прозвали. Мужским голосом, совершенно не соответствующим ни его росту, ни возрасту, бывало, гудит:

— Ну, дай морковину-у-у. У вас морковка баско сладка.

Отведав морковки, он снова басит:

— Ну, дай шанежку. У вас шаньги баско сладки-и-и.

Ленька уминает пышную теплую шаньгу с творогом, а сам косится на бабушку Тарутину, выглядывающую из окна. И не случайно.

— Ну, гли-ко, ведь опять пузан от мальчика шаньгу выклянчил, — возмущается бабушка. — Ведь лопнешь того и гляди, рыжик нечесаный. Вот уж матери-то твоей все расскажу. Вот она уж тебя, пузыря конопатого, крапивой по голой-то заднице!

Ленька сопит, дожевывая шаньгу, и необыкновенно легко катится на коротких ножках по направлению к церковному саду. На бегу он машет мне рукой и кричит неизменным басом:

— Айда со мной! Мы с Васькой гнезда вороньи зорить станем!

Кроме Масляника, у Леньки было еще несколько прозвищ: Пузан, Катыш, Ржа, Рыжик, Тыква. И на все он, не обижаясь, охотно отзывался. Вот только Масляником просил не называть. Почему? На это у Леньки были свои причины. Это прозвище у него вызывало самое неприятное воспоминание. И я, верный нашей дружбе детства, не желая его огорчать, не стану в этой книге раскрывать тайну.

Антонина Васильевна трогает меня за плечо и спрашивает:

— А ты знаешь, кто он теперь, Леня Новиков? Совестно признаться, но такой стремительный ритм задает жизнь, что нет времени, а так хочется разыскать, встретиться, посидеть за чашкой ароматного чая и по душам побеседовать со всеми друзьями и детства, и юности! К великому сожалению, это всего лишь сокровенная мечта, которой суждено ли будет свершиться? Поэтому на заданный вопрос моей первой учительницы я недвусмысленно молча пожимаю плечами.

— Как же так? Своих соучеников надо знать, — справедливо журит Антонина Васильевна. — Он теперь майор.

— Да?! — и удивляюсь, и радуюсь я за друга.

— А этого узнаешь? — показывает она на мальчика с неестественно длинной шеей.

— О! Да это же Васька-пономарь!

— Не пономарь, а очень способный агроном, селекционер, — поправляет меня учительница.

— А это вот Гена Королев, правда? А он кто?

— Он архитектор в Свердловске, — безошибочно уточняет Антонина Васильевна, — к моему удивлению.

Впрочем, как можно удивляться, что наша первая учительница многое, как беспокойная лгать, знает о нас? Ведь и каждый из нас считает ее своей матерью. Жаль только, что мы, ее питомцы, братья и сестры по школьным партам, по духу, так мало знаем друг о друге!

— А вот этого ты помнишь? — показывает Антонина Васильевна на худенького мальчика с грустными глазами, в старых, видимо, отцовских валенках из «кислой» шерсти.

Довольно долго всматриваюсь в парнишку, мучительно вспоминаю, кто же он и как его зовут.

— Да это же — ты! — весело смеется учительница.

Но затем, уже серьезно и, как всегда, доброжелательно говорит мне:

— Своих товарищей детства всегда надо помнить. Понимаешь? Всегда.

На следующий день мы вместе идем на мой концерт во Дворец культуры. Волнующий для меня вечер, незабываемый.

Выступление свое начинаю словами:

— Дорогие друзья, родные мои земляки! Сегодня у меня большой праздник. Во-первых, потому, что выступаю в городе, недалеко от которого провел свое детство.

Во-вторых, потому, что выступаю в таком великолепном Дворце культуры!

И, в-третьих, потому, что сегодня на концерте присутствует моя первая учительница, к которой я пришел в школу семилетним мальчиком, заслуженная учительница Российской Федерации Антонина Васильевна Харлова!

Все встают и долго-долго от всего сердца аплодируют стоящей рядом со мной на сцене женщине, на черном платье которой сверкает орден Ленина.

Конечно же, все цветы в этот вечер — моей доброй первой учительнице!

Молодость играет стариков

Самая счастливая пора жизни — когда молод и веришь, что молодость вечна.

Ну а если ты — артист и тебе, молодому человеку, доверяют сыграть роль почтенного старика? Так не однажды случалось со мной.

Когда мне было столько лет, сколько сейчас вам, мои юные читатели и зрители, в Ленинградском ТЮЗе режиссер Борис Вольфович Зон доверил мне сыграть в драме Александра Сергеевича Пушкина «Борис Годунов» роль патриарха.

«Как же, думаю, играть патриарха? Ведь ему прежде всего сто два года! Как мне, молодому артисту, играть святого старца?»

И здесь меня выручили магические слова Константина Сергеевича Станиславского «если бы».

«А что, если бы и я дожил до ста двух лет?»

Начну с внешних характерных черт. Допустим, частые ночевки на сырой земле во время охотничьих вылазок и продолжительные походы по болотам в промокшей обуви в определенном возрасте сделали свое скверное дело. Меня наконец постигает болезнь многих охотников — ревматизм. Согнулись и опухли колени, стало трудно передвигаться. Давно я перестал заниматься спортом, и моя некоторая предрасположенность к сутулости начала сильно прогрессировать: спина согнулась, фигура деформировалась. Магические слова Станиславского «если бы» действуют.

А если бы у меня были больные ноги, постоянно ноющая поясница, согбенная спина? Тогда мне трудно было бы подняться по лестнице на пятый этаж. Появилась бы одышка, тяжело стало разговаривать. Изменился бы голос: стал надтреснутым, утратил прежнюю свежесть, исчез бы в нем металл.

Ну а если бы к тому же еще и выпали зубы, и нос встретился с подбородком? Как бы изменилось лицо!..

Так бесконечно число этих замечательных «если бы»!

Пока лишь говорю о внешнем облике состарившегося человека безотносительно к его специальности, к его общественному положению, к тем обстоятельствам, в которых должен жить, действовать, существовать артист, исполняя ту или иную роль.

Но главное, как сыграть характер святого старца? В чем внутренняя сущность этого человека? Почему так, а не иначе ведет себя патриарх в государевой думе или со своими подчиненными?

О патриархе говорят «святой», «святейший». Что такое святой?

Моему приятелю, который репетирует дядька Вонмигласова в рассказе Чехова «Хирургия», наверное, несколько легче, проще, думаю. Он не ставит перед собой некоторые из этих сложных вопросов. Он ищет черты характера, которые у него, дядька, появились на протяжении жизни, пытается говорить окая, как если бы читал псалмы, немножко в нос, нараспев.

Зная, что мне, двадцатилетнему артисту, в то время предстоит играть патриарха ста двух лет, почтенного святейшего старца, мой друг как-то утром перед репетицией звонит мне по телефону и, довольно ловко гнусава, нараспев говорит:

— Ты сегодня из дому не выходи-и-и. Ка-а-ак из дому выйдешь, так и во грехах потонешь!

Рассмеялся я и повесил трубку. Иду на репетицию, спускаюсь по лестнице и ловлю себя на мысли, что думаю о сказанной моим другом фразе. Она, как вбитая, сидит в моей голове.

Как ни стараюсь, не могу освободиться от нее ни на улице, ни в трамвае.

«В каких это я грехах потопу?» — размышляю. И в пору самого глубокого раздумья на эту тему кто-то пребольно наступает мне на ногу. От неожиданности громко вскрикиваю и не очень сдержанно говорю гражданину: «Будьте внимательны, когда едете в городском транспорте, а не на собственной машине». Он немедленно отвечает мне: «Не надо отращивать такие длинные ноги, носить шляпу и делать мне замечание, особенно когда спешу на работу».

Какая-то милая старушка произносит длинную речь о распущенности нашей молодежи. Кто-то немедленно возражает ей, объясняя выпад против молодежи ее одряхлением. Старушка обижается не на шутку и, уже не стесняясь в выражениях, доводит до сведения гражданина, что он нахал, и советует ему закрыть «поганую пасть»!..

Раздосадованный этим инцидентом, выскакиваю из трамвая до остановки, и, совершенно на законных основаниях, меня останавливает, отчитывает и оштрафовывает постовой милиционер.

Что же со мной произошло? В сущности, ничего особенного. Во всем виноват я. Позволял себе проталкиваться к выходу, никого не спросив. Позволил резко ответить гражданину и, наконец, выскочил из трамвая не на остановке.

Но странно: спустя некоторое время, рассказывая товарищам о происшедшем, себя я ни в чем не обвинял, а винил только окружающих. Рассказывая, даже передразнивал милиционера.

В таком настроении вхожу в комнату, где должна начаться репетиция заседания Государственной думы.

«Ты первый, святой отец, свою поведай мысль!» — обращается ко мне, патриарху, царь Борис. «Благословен всевышний, поселивший дух милости и кроткого терпенья в душе твоей, великий государь!» — должен ответить я.

Как же невероятно трудно сейчас произносить эти слова!

Меня останавливает мой учитель и режиссер Борис Вольфович:

— Дорогой мой, что вы сейчас играете? Ведь патриарх сейчас хочет успокоить царя Бориса, дать ему добрый совет. Именно добрый совет. Подчеркиваю слово «добрый»: ведь патриарх сам преисполнен святости и многотерпения. А вы даже не слушаете, что говорит вам царь, не вникаете в смысл его слов. Вспомните замечательное выражение Константина Сергеевича Станиславского: «Вы заgrimировали свое лицо, а заgrimировали ли вы свою душу? Подготовили ли вы себя к сегодняшней репетиции?» Вы рассказали нам сейчас о случае в трамвае, настроили весь ваш организм, всю вашу психику не на ту волну. Обыкновенный житейский пустяк выбил вас из колеи. Вы замкнули себя для живого восприятия впечатлений. Вы ничего не видите, ничего не слышите. Сейчас вы не Кадочников-патриарх, святой, а просто расстроенный, обозленный Кадочников.

— Ну где, где мне искать эту святость? Где? — спрашиваю.

Видя мое полное отчаяние, Борис Вольфович смеется и отвечает:

— Там же, в трамвае.

— Наверное, мне нужно было подставить вторую ногу? — спрашиваю не без ехидства.

— Конечно.

В репетиционной все дружно смеются.

— Может быть, — продолжает Борис Вольфович, — из этого получилась бы веселая шутка: вы вышли бы из вагона на остановке, оставив всех в превосходном расположении духа. И начали сегодняшнюю репетицию с сознанием исполненного долга, что вы не содейали злу, а сотворили добро. Видите, как можно было «заgrimировать» свою душу.

Борис Вольфович, снимает очки, протирает их, поправляет безукоризненно завязанный галстук и продолжает:

— Так что, мой друг, если хотите хорошо сыграть роль, думайте о ней до репетиции. Не расставайтесь с вашим патриархом ни на одну минуту. Пусть он всегда ходит рядом с вами.

Прошло несколько дней, и мне снова пришлось ехать в

трамвае на репетицию. Теперь я уже думаю о том, что еду репетировать патриарха, а значит, должен быть добрым, всепрощающим.

И вдруг происходит то, о чем я мечтал. Высокий, широкоплечий человек в тяжелых болотных сапогах, энергично расталкивая пассажиров, преобольно толкает меня локтем в бок, а затем с такой силой наступает мне на ногу каблуком с железной подковой, что от боли я забываю не только о патриархе, но и время дня и название города, в котором нахожусь.

Увидев, как страдальчески изменилась моя физиономия, человек очень смутился и вежливо произнес: «О! Извините, пожалуйста. Я понимаю, как это должно быть больно».

Сделав вынужденную паузу и с трудом выговаривая слова, отвечаю:

— Ничего, ничего. Можете наступить на другую. Мне будет даже приятно.

Он в недоумении смотрит на меня и просит извинения еще раз.

Наш короткий диалог произвел на всех, очевидно, очень приятное впечатление. Многие расхохотались, а один пассажир даже задает мне вопрос, не являюсь ли я последователем учения Ганди. Отвечаю утвердительно. И, радуясь результату своей шутки, в отличном настроении выскакиваю из вагона. Раздается пронзительный свисток. Ко мне подходит сержант милиции и не очень любезно просит объяснить, почему я позволил себе выскочить из вагона не на остановке.

Веселая улыбка, как пугливая ласточка, мгновенно слетает с моего лица. Но только на мгновение. Овладев собой, я снова приветливо улыбаюсь и говорю сержанту фразу из рассказа Чехова «Хирургия»: «Вот вас господь просветил, а нам, дуракам, и невдомек, признаться. На то вы, благодетели наши, и поставлены, чтобы это дело понимать, как оно есть».

Милиционеру, судя по всему, очень хотелось сделать мне серьезное внушение. Но, видя мою сияющую физиономию, сержант не выдерживает и, улыбнувшись, говорит: «Идите, гражданин. Не хочется портить вам настроение. Только на будущее учтите: выходить из трамвая все-таки надо только на остановке».

Поблагодарив его, бодро шагаю к театру. Поднимаясь по лестнице, в репетиционную комнату, вспоминаю о магическом «если бы».

«А если бы у меня в коленях и поясице была постоянная нестерпимая боль, ломота, затрудненное дыхание и одышка? Наверное, я поднимался бы по лестнице не так бодро, а по

ступеньке, по ступенечке, держась за перила».

Согбенным старцем, с дрожью в ногах открываю дверь в репетиционную комнату. А настроение у меня превосходное, потому что я принес Борису, царю, добрый совет, который избавит его от ненавистного самозванца.

Поняв, что моя репетиция началась задолго до общей и не желая ее прерывать, ко мне подходит один из моих партнеров Леонид Соломонович Любашевский. Он в нашем спектакле играл Шуйского. Наклонив голову так, как это сделал бы его герой, он просит у меня, святого отца, благословения. Я благословляю его. Сажусь по левую руку от царя, по правую — царевич Федор. Начинается царева дума.

Скорбными глазами смотрит на меня, патриарха, царь Борис и говорит:

«... Ты первый,
Святой отец, свою поведай мысль».

И как легко, как естественно теперь отвечаю я ему:

«Благословен всевышний, поселивший
Дух милости и кроткого терпенья
В душе твоей, великий государь...»

Режиссер не прерывает монолога до самого конца, а потом говорит, что это была одна из самых интересных репетиций.

Считай себя солдатом

Считай себя солдатом

Мне не надо вам объяснять, как прекрасна пора молодости. Мирной молодости. Представьте лишь, что вы — киноактер. Только что, в вечернюю смену, вы снялись в последнем кадре кинокомедии «Антон Иванович сердится» в роли Алексея Мухина. Представьте это — и вы поймете мое настроение поздним вечером 21 июня 1941: года.

Переполненный радостью, выбегаю танцующей походкой из киностудии «Ленфильм». Хочется каждому встречному крикнуть: «Здравствуйте! Не правда ли, сегодня прекрасный вечер!»

На своем заветном месте — на середине Кировского моста — облакачиваюсь на чугунные перила и любуюсь Васильевским, или, как его еще ласково называем, «Васиным островом». Хорошо вижу, как его крепко и нежно обнимают в золотистых бликах под луной волнистые рукава Невы. Наслаждаюсь красотой Стрелки, Ростральных колонн, в ярком электрическом освещении дугами-радугами бессонных мостов. Еще бы! Сегодня тысячи десятиклассников сдали последние экзамены на зрелость — и теперь на законных основаниях могут гулять до самого утра.

А сколько воспоминаний навевает мне и, знаю, еще долго будет навевать вот эта, что справа, Мытинская набережная! Ведь здесь снималась первая встреча Алеши Мухина и Симочки, которую так непосредственно и талантливо сыграла Людмила Целиковская.

Хочется верить, что эта кинокартина понравится зрителям. Да и не я один так думаю.

Еще живо в памяти, как на последнем художественном совете Фридрих Маркович Эрмлер, по давней привычке перебирая янтарные четки, задумчиво сказал: «Я почти уверен, что эта картина будет иметь большой успех у публики».

«А мне большего и не надо, — подумал я. — Для кого же она делается? Не для снобов же от искусства и не для Дома кино стараюсь, а для народа».

С Кировского моста до Бородинской улицы я почти бегу, а в ушах продолжает звучать вальс Дмитрия Кабалевского из нашего фильма:

Это бывает весною и в мае,
Самой неожиданной порой:
Утром проснешься, глядишь и не знаешь,
Что же случилось с тобой!

А вот и мой дом. Лифт? Зачем он мне? Как на крыльях, влетаю на пятый этаж.

Мой яростный звонок, конечно же, слышат все обитатели нашей доброй коммунальной квартиры.

Что значит любимая жена да еще к тому же друг и товарищ по профессии! Открыв дверь, лишь глянув на меня, она сразу же, без единого слова, понимает, что в душе у меня сейчас поют соловьи. И, не спрашивая ни о чем, вместе со мной она закружилась в вальсе и тоже запела:

Это бывает весною и в мае,
Самой неожиданной порой...

Да простят нас за громкую, или, как сказала бы моя первая учительница Антонина Васильевна Харлова, неумемную радость наши добрые соседи! Невольно поднятые на ноги, они обступают нас плотным кольцом и засыпают вопросами:

— Ну, Павел, как дела?

— Получилась картина?

— Что говорили на худсовете?

— Кто говорил?

— Что сказал Козинцев?

— Будут ли досъемки?

— Когда картину повезут сдавать в Москву?

— Остался монтаж, — отвечаю, — а затем перезапись на одну пленку...

— А затем, — перебивает меня Григорий Васильевич Галяфрэ, — ты нас пригласишь на премьеру в Дом кино.

— Конечно, конечно... если сумею достать билеты.

— Спокойного сна.

— Спокойной ночи, — от души желаем друг другу, совершенно уверенные в том, что и эта ночь над Родиной будет спокойной.

В нашей маленькой, одиннадцатиметровой комнате, которую мы окрестили кельей, можно не зажигать огня. Со свежим дыханием белой ночи в открытое окно вливается, как сказал поэт, «прозрачный сумрак», окрашивая в сказочные тона немудрое убранство нашего скромного жилища.

Мы еще долго смотрим на «спящие громады пустынных улиц» (опять Александр Сергеевич Пушкин), тихо говорим о завтрашнем спектакле в Новом ТЮЗе — «Ашик Кериб», в котором я должен петь с симфоническим оркестром сложные партии.

На сон грядущий мечтаем провести раннее утро в любимом Летнем саду. Там же обсудим наши дальнейшие дела и

предстоящую скорую разлуку — почти на месяц. Мне ведь надо ехать в Сталинград на съемки фильмов «Оборона Царицына» и «Поход Ворошилова». Шутка ли! В этой второй картине сыграю роль самого начальника штаба армии!

Счастлив еще и тем, что еду сниматься у настоящих художников и замечательных людей, создателей бессмертного «Чапаева» — братьев Васильевых.

Словом, жизнь прекрасна! Работа удивительна. А что еще надо человеку? Надо только спешить, воплотить в яркие образы все задуманное.

Мечты, мечты...

Как вы уже, наверно, догадываетесь, раннее утро мы, утомленные насыщенным днем, конечно же, проспали. Времени остается только на то, чтобы наскоро позавтракать и разбежаться в разные стороны: жене — на репетицию, а мне — на озвучивание фильма.

Но почему так непривычно тихо в кафе? Почему люди разговаривают полупшепотом?

— Послушай, — обращаюсь я к жене, — тебе не кажется, что что-то случилось? Приглядишься к посетителям. Почему на лицах нет ни одной улыбки? Почему у официантки заплаканные глаза? Нет, нет, дорогая, что-то случилось. Мы что-то проспали, чего-то не знаем. Сколько сейчас на твоих?

— Одиннадцать часов пятьдесят семь минут.

— Я побежал...

Куда?

— К репродуктору!

Возвращаюсь. Жена сидит, уставившись куда-то в пространство.

— Ты слышала?

Она едва заметно кивает головой.

Бегать к репродуктору было совершенно бессмысленно. Голос Вячеслава Михайловича Молотова отлично был слышен и здесь, в кафе.

Не в силах сдержать в себе горя, уткнувшись лицом в мои ладони, жена плачет.

— Не надо, родная, — стараюсь утешить ее, пытаюсь шутить, улыбаться.

Мой разум отказывается верить в то, что произошло. Все кажется каким-то диким бредом, затянувшимся кошмарным сном или жестокой ошибкой.

— Не плачь. Я ведь скоро вернусь. Ну, успокойся.

И тут же ловлю себя на мысли, что говорю банальные, ничего не значащие слова.

«Ну о каком спокойствии можно говорить сейчас, когда вся жизнь наша, жизнь всей страны на сто восемьдесят градусов в стремительном порыве повернула на тяжелую, может быть, очень страшную дорогу?!» — пытаюсь глубже осмыслить происшедшее.

Иду от Летнего сада через Кировский мост, внимательно всматриваюсь в лица ленинградцев. Как посуровели они! Даже дети притихли. А сам город, Нева, набережные, дома? Кажется, и они утратили свой легкий, необычный поэтический блеск. Город насторожился, сурово сдвинул брови. И если вчера трамваи игриво звенели на поворотах, то сегодня они тяжело и мрачно вздыхают.

А что там, на «Леифильме»? Какими я встречу своих товарищей? Будем ли мы продолжать работу над веселой комедией? Нужна ли она кому теперь? Состоится ли мой отъезд в экспедицию? Может, группа в Сталинграде уже сворачивает работу и скоро возвратится в Ленинград?

Вот и «Ленфильм». Тяжело и медленно поднимаюсь по той самой, знакомой каждому кинематографисту, знаменитой лестнице, которую так мастерски описали в своем неповторимом романе Ильф и Петров.

Нет, не случайно сатирики удостоили эту лестницу такого внимания. На площадке второго этажа, этого своеобразного ленфильмовского клуба, можно было всегда узнать все кинематографические новости: что делается «на «Мосфильме», на «Ленфильме», какие картины открываются, какие закрываются, кто из режиссеров что задумал или еще не задумал.

Но сегодня эту лестницу не узнать. «Клуб» немногочислен. Не слышно смеха, шуток, не в меру громких и темпераментных артистических споров.

Встречаю одного из лучших вторых режиссеров Михаила Исаевича Шейнина. Он облокотился на перила и задумчиво смотрит в лестничный пролет. В тяжких раздумьях не замечает меня.

— Здравствуйте, дядя Миша.

Он машинально протягивает мне руку, внимательно смотрит в глаза и с трудом переводит дыхание:

— Вот так...

И, не говоря больше ни слова, поворачивается к медленно уходит по коридору.

— Михаил Исаевич! — кричу ему вдогонку. — Как вы думаете, а озвучивание сегодня будет?

— А как же, — вроде бы уверенно отвечает он. Но, подумав, пожимает плечами.

В съемочной группе застаю режиссера-постановщика

Александра Викторовича Ивановского и киноактрису Целиковскую.

Мой приход замечает только Александр Викторович. Он вежливо, как всегда, встает, подает мне руку и жестом приглашает сесть.

Не отрывая от глаз платка, Людмила Васильевна продолжает, видно, давно уже начатый разговор:

— Но ведь у них подписано с нами мирное соглашение. Ведь это, наверно, просто какой-то временный конфликт. Наверно, это ненадолго?

Ивановский улыбается. Это первая улыбка, которую вижу после объявления страшной вести.

— К сожалению, нет, душенька моя, — отвечает Александр Викторович. — Это не игра. Эта война будет очень долгой и страшной. И не на жизнь, а на смерть. Мы будем воевать с одной из самых сильных армий мира. И поверьте мне, старику, душенька моя, мы победим... Ну-ну... Людочка, хватит, успокойтесь и поздоровайтесь хотя бы с вашим партнером... Вы знаете, что через несколько минут начинается общестудийное собрание? А потом будем заниматься нашей милой, веселой картиной. Уверяю вас, она сейчас будет как нельзя кстати.

Его последние слова воспринимаю как горькую шутку. Слова эти вспомню зимой 1941 года и лишь тогда подумаю: «Как же ты был прав, наш добрый и мудрый старик!»

А сегодня, выступая на студийном митинге, страстно говорю о том, в чем глубоко убеждены и я, и мои товарищи: сейчас дело всех ленфильмовцев — брать в руки оружие и давать смертельный отпор врагу!

С этим окончательным решением иду в Петроградский райком комсомола. Секретарь райкома с виду моложе меня. Мальчишеская стриженная голова на тонкой шее. Только глаза очень взрослые: серые и суровые, оттененные синевой усталости. Они смотрят на меня не мигая в упор из-под нахмуренных бровей:

— Ты подал заявление в народное ополчение?

— Да, — отвечаю. — Вы же об этом знаете, раз заявление лежит перед вами.

— Зачем ты это сделал?

— Праздный вопрос. Так поступает большинство моих товарищей. Мы пойдем на фронт воевать.

— У тебя в военном билете написано: «Годный, не обученный».

— Ну и что же? Обучусь.

— А вот письмо от руководства «Ленфильма». «Артист

Кадочников заканчивает работу в кинокартине «Антон Иванович сердится» и снимается в кинокартинах «Оборона Царицына» и «Поход Ворошилова», в которых исполняет одну из центральных ролей — начальника штаба Ворошиловской армии Николая Руднева. Так как в настоящее время эти картины являются картинами оборонного значения...»

Он возвращает мне мое заявление и говорит:

— Возьми.

— Зачем?

— Праздный вопрос, — теперь уже он отвечает мне этими же словами и продолжает: — Искусство не должно умереть! В эти дни оно должно встать на оборону. С этого дня считай себя солдатом и выполняй свой солдатский долг. Иди на «Ленфильм», возьми командировку и без промедления отправляйся в Сталинград на съемки.

Заметив мою нерешительность и желанно поспорить, секретарь райкома комсомола резко повышает тон:

— Ты понял, или тебе повторить?

Его серые усталые глаза впиваются в мои зрачки.

— Понял, — отвечаю я, повернувшись по-военному, на сто восемьдесят градусов, шагаю к выходу.

Истоки подвига разведчика

Есть люди в искусстве, которые утверждают, что положительные роли играть неинтересно. По их мнению, горой непременно должен быть наделен какой-нибудь червоточинкой. Тогда есть за что зацепиться, есть что играть.

Решительно отвергаю такую точку зрения. И, думаю, вы со мной согласитесь. Посудите сами: разве артистам Щукину или Штрауху было неинтересно играть Владимира Ильича Ленина?

Радостно и мне было играть майора Федотова — «рыцаря без страха и сомнения» — в кинофильме «Подвиг разведчика». Но только ли мне, исполнителю главной роли, пришлось по душе этот фильм?

«Подвигу разведчика» — более сорока лет. За четыре с лишним десятилетия киноленту посмотрели миллионы зрителей и в нашей стране, и далеко за пределами Родины.

Но и сегодня, на пороге XXI века, вы, посмотрев этот фильм, прислали мне письма благодарности. Спасибо вам от всего сердца!

Давайте же вместе поразмыслим: в чем секрет долговечности, постоянного воздействия на наши чувства и мысли этой картины? Авторы ленты создали интереснейший сценарий. Его сюжет целостей и органичен. Эпизоды прочно связаны между собой, а связь эта настолько крепка, что любая перестановка эпизодов или удаление любого из них нанесли бы большой ущерб выстроенному сюжету. Здесь каждый эпизод или непосредственно влияет на последующие действия, или оказывается следствием предыдущего.

Скажем, встреча майора Федотова с Медведевым. На первый взгляд, особенно в начале; этот эпизод выглядит совершенно самостоятельным. Но разве случаен, скажем, приход бухгалтера к разведчику, которого он знает как Генриха Эккерта? В том-то и дело, что в разговоре Эккерта с Медведевым раскрывается предательская сущность последнего. А от поступков предателя зависит жизнь советского разведчика и выполнение им очень важного для Родины задания. Каждый шаг Медведева имеет значение и для провокатора Бережного, и группенфюрера Руммельсбурга, и многих других персонажей кинофильма.

Вглядитесь в любой персонаж картины. Каждый: занимает свое место в развитии сюжета и наделен теми чертами, в которых выразительнее всего проявляемся характер.

Майор Федотов. О таких ролях в старые времена говорили: «Что ж ее не сыграть? Она настолько хорошо написана, что,

положи ее на суфлерскую будку — она сама за тебя сыграет».

Но, уверяю, ни очевидное совершенство сценария, на виртуозное владение съемочной техникой оператора, и в способности актеров не смогли бы создать столь долговечный художественный фильм без режиссера-постановщика Бориса Васильевича Барнета. И, честное слово, без этого талантливого человека не сыграла бы сама по себе роль Алексея Федотова, «положенная на суфлерскую будку».

Признаться, меня поначалу несколько смутило предложение Барнета попробоваться на роль Федотова. С Борисом Васильевичем мы встретились после просмотра картины «Иван Грозный».

Барнет сделал очень заманчивое предложение — создать на экране образ смелого, мужественного советского разведчика. Справлюсь ли? Ведь до этого почти три года носил боярские ферязи и ходил в «шкуре» Робинзона Крузо. Смогу ли преодолеть ставшие уже почти привычками черты этих персонажей?

На роль Алексея Федотова кандидатов было предостаточно. Режиссер выбрал меня. Пришлось надеть форму майора государственной безопасности, а затем и форму немецкого офицера.

Верно говорят, форма «обязывает». Молчаливо, но постоянно и строго она напоминала мне, что я — один из солдат. Я часто повторял про себя слова Дзержинского: «Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками».

А сколько дали мне для понимания майора Федотова продолжительные беседы с глазу на глаз с настоящим разведчиком — консультантом кинофильма!

На съемочной площадке, освещенной юпитерами, готовясь шагнуть к кинокамере, я постоянно, как заклинание, произносил про себя: «Ни слова ложного пафоса. Ни движения наигрыша, показного эффекта. Будь смел, бесстрашен и решителен, но так же прост и человечен, как герой-панфиловец Григорий Шемакин — защитник Москвы».

И все же правда образа иногда ускользала. Это мгновенно улавливал режиссер Барнет. И тогда приходилось слышать от Бориса Васильевича: «Не будем снимать «солому»: все равно в корзину».

Вы спросите: «А что же острые ситуации, постоянное нарастание динамики сюжета? Неужели и они не могли «выручить» киноактера?»

Безусловно, они мне во многом помогали. Но было бы глубочайшим заблуждением считать, что формальное

выполнение действий может заменить правдоподобие чувств, внутреннюю степень накала действующего лица.

Как же достигал постановщик желаемого? Прежде всего — тщательными репетициями. Барнет принадлежал к тем режиссерам, которые не позволяют себе выносить на съемочную площадку неготовую, не отрепетированную до мельчайших подробностей сцену.

Репетиции были продолжительными, похожими скорее на театральные. Барнет, если это было необходимо, привлекал всех нас и к застольному периоду работы. «Сначала разберемся в логике поведения наших героев, — говорил Борис Васильевич, — а затем уже поищем мизансцену».

Он помогал нам поверить в происходящее, подчинить свою психику постоянному нарастанию напряжения. И самое главное — сохранить эту, нажитую в репетициях, внутреннюю степень накала. Добивался, чтобы этот накал соответствовал острой ситуации и не противоречил бы динамике самого сценария. И добивался этого от актеров Борис Васильевич, помимо всего прочего, самым убедительным способом — силой собственного примера.

Не могу точно утверждать, что побудило режиссера-постановщика создать образ фашистского генерала фон Кюна. Возможно, Борис Васильевич исходил просто из благородных побуждений — избавить коллег от работы над столь омерзительной ролью. А, может быть, он поступил так, чтобы помочь мне выразительнее создать образ советского разведчика. Истина бесспорна: чем лучше, правдивее играет на сцене или перед кинокамерой твой партнер, тем легче и тебе раскрывать свои способности, тем органичнее и убедительнее движения твоих мыслей, чувств, рук, глаз.

У режиссера в таком случае появляется возможность посмотреть на игру киноактера не со стороны, а в прямом смысле слова заглянуть в самые зрачки глаз — зеркало души человека.

Но вернее предположить, что Барнет, как истинный гуманист, поставил перед, собой более важную цель — в образе генерала фон Кюна воплотить и показать всю жестокость, бесчеловечность, опасность фашизма.

Дар перевоплощения артиста Бориса Барнета был потрясающим. В его исполнении весь облик этого выродка буквально приводил меня в ярость. Стоило мне взглянуть на этого самодовольного фашистского генерала, как память мгновенно воскрешала жуткое зрелище: разрушенные города и деревни, сожженные поля до самого Сталинграда. Среди тысяч беженцев — старики и женщины, прижимающие к сердцу грудных

детей.

«Я должен выполнить задание Родины. Я должен избавить Землю от таких, как ты, извергов, генерал фон Кюн. Любой ценой!»

Чьи эти мысли? Кто это говорит: мой герой или я? Мы оба так думаем. Оба так говорим со своей совестью и клянемся жизнью отомстить фашистским захватчикам. Майор Федотов полностью доверяет мне, а я — ему. У нас с ним одно сердце, одно желание — спасти Родину!

И я решаюсь на отчаянный шаг. Для того чтобы похитить из сейфа последний оперативный план, я — разведчик Федотов — Генрих Эккерт — с трудом проникаю в кабинет генерала Кюна.

Освещаю тонким лучом карманного фонарика сейф и пытаюсь открыть его сделанным по оттиску ключом. Срабатывает сигнализация. Раздается оглушительный вой сирены, в кабинете вспыхивает свет. Я слышу, как по лестнице, ведущей в кабинет генерала, бегут фашисты, чтобы схватить меня.

«Думай быстрее, быстрее!.. На размышления времени нет. В считанные мгновения не ошибись, найди единственное верное решение».

И нахожу его. Быстро закрываю входную дверь. Подбегаю к столу, хватаю тяжелый бронзовый подсвечник, вышибаю им двойную раму окна и прячусь за портьеру. В кабинет врываются гитлеровцы — солдаты охраны, офицеры. В панике они подбегают к выбитому окну. Ни у кого не вызывает сомнения, что смельчак выпрыгнул в окно. В суматохе незаметно выскальзываю из-за портьеры и присоединяюсь к смотрящим в окно.

В кабинет решительным шагом входит рассвирепевший генерал Кюн. Да, он не просто возмущен, а буквально взбешен. «Идите от-сю-да вон! Во-о-он!» — в гневе приказывает генерал.

Подчиненные испуганно выбегают из кабинета. Генерал абсолютно уверен, что все немедленно выполнили его приказ — исчезли тут же. Но как только рука фон Кюна потянулась к телефону, она встречается с моей рукой, а его взгляд — с моим взглядом. В руке у меня пистолет, а указательный палец — на спусковом крючке, готовом в любое мгновение сработать безотказно. Я предлагаю генералу два пути: или следовать за мной, или отправляться на «тот свет».

Фон Кюн на миг опешил, по быстро берет себя в руки: сообразил, что мой выстрел услышит его охрана — и тогда мне не уйти от смерти. Это, по логике гитлеровского генерала, должно сдержать меня.

«Это равносильно самоубийству, вы не сделаете этого», — прибегает фон Кюн, как ему кажется, к магическому доводу во

спасение своей жизни.

Вся логика поведения Федотова не оставляет немецкому генералу надежды сомневаться, что жизнь, честь и свобода моей Отчизны дороже мне собственной жизни.

«Сделаю, генерал! Вам трудно в это поверить так же, как трудно понять, почему советские люди, даже дети, которых вы ведете на виселицу, плюют вам в лицо и умирают со словами «Да здравствует Родина!». Вы никогда не сможете этого понять, а потому пойдете со мной, генерал».

В своих письмах зрители часто спрашивали меня, как поступил бы я, Алексей Федотов, окажи мне сопротивление фашистский генерал? Я поступил бы точно так же, как поступил бы в таком случае каждый, кто любит Родину, все доброе и светлое в этом мире.

Глубоко верю, что зло существует не только в сказках, и оно должно быть наказано. Иначе — не бывать добру. А оно так нуждается в нашей с вами защите!

Урок героя-панфиловца

В юности мы подчас представляем себе героя как человека богатырского телосложения, гигантского роста, словом, эдакого великана с доброй душой.

Так думал и я. И как же благодарен судьбе за то, что уже в молодые годы она преподала мне незабываемый урок великой простоты — дала возможность встретиться и побеседовать, посмотреть в глаза не выдуманному, а настоящему русскому герою.

С моим другом, киноартистом Владимиром Балашовым, спешил я из Новосибирска в Алма-Ату на съемки фильма «Иван Грозный». Радовались, тому, что едем сниматься к знаменитому мастеру кино, создателю бессмертного фильма «Броненосец «Потемкин», Сергею Михайловичу Эйзенштейну.

Это ведь ему, вспоминали мы, Чарли Чаплин подарил свой портрет с надписью: «Моему другу и учителю. Признательный Чаплин».

И у этого человека мы должны сниматься!

Мы радовались тому, что замечательный режиссер решил снимать некоторые кадры приближенно к подлинной обстановке. И все это делалось, конечно же, для того, чтобы мы как можно глубже прониклись духом и бытом той эпохи, в которой должны не просто существовать, но и жить и действовать.

Играя, князя Владимира Старицкого, я на пиру царя Грозного буду держать в руках подлинную чашу князей Старицких. Не бутафорскую, пахнущую столярным клеем, сделанную из папьемаше, а настоящую — серебряную с позолотой, взятую на время из Исторического музея.

«Интересно, — размышляем с другом, — поможет ли это мне лучше почувствовать себя князем?»

«А Николай Константинович Черкасов, — вместо ответа увлеченно подхватывает мысль Володя Балашов, — будет ходить по той самой ковровой дорожке, по которой действительно ходил Иван Грозный. Как ты думаешь, поможет ли это Черкасову глубже проникнуть в характер царя Грозного?»

Мы так увлеклись громкими разговорами о князьях да парях, что не расслышали робкого стука в дверь. Заметили только, когда дверь осторожно отворилась и в нашем купе появился человек — худощавый, небольшого роста, и серой шинели, с котомкой за плечами.

Он робко потоптался на месте, посмотрел на нас добрыми внимательными голубыми глазами, застенчиво улыбнулся и

проговорил немного простуженным голосом:

— Робята, это место слободно будет?

— Свободно, свободно. Заходите, пожалуйста.

Наш новый попутчик постоял секунду в нерешительности. Потом, как бы извиняясь, сел на самый краешек мягкого сиденья. Немного покачался и сказал:

— Мягко.

В вагоне было тепло. Я предложил незнакомцу снять шинель и котомочку.

Он опять посмотрел на меня добрыми внимательными глазами и деловито заметил:

— Правильно говоришь. Вещмешок снять можно.

Привычными движениями он снял лямку с одного плеча, потом — с другого, аккуратно повесил мешок на крючок. Затем снял шинель. Свернул ее, как для похода, скаточкой. По-хозяйски уложил шинель под голову и снова сел, положив на колени тяжелые, натруженные работой руки.

Я посмотрел на него и... замер. На груди у пассажира я увидел Звезду Героя Советского Союза, ордена Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны, Красной Звезды, множество медалей и в их числе медаль «За отвагу».

«Какое удивительное несоответствие с тем, что я подумал об этом человеке, когда он вошел в купе, и тем, кто он есть на самом деле! С нами в купе сидит русский богатырь. Но до чего же он не похож на привычный стереотип плакатных богатырей, — думал я. — Чуть вздернутый нос. Ясные, добрые голубые глаза, опущенные светлыми ресницами. Слегка приподнятые брови. И совсем светлые волосы».

Чем больше я смотрел на нашего попутчика, тем больше мне он нравился. Я даже подумал о том, что он красив. Красив своей простотой и скромностью. Только что вошел в купе, а от него уже распространяется какое-то необыкновенное тепло. Глядя на него, хочется быть таким же добрым, вежливым и предупредительным.

Непреодолимое желание спросить попутчика, за какой подвиг он получил звание Героя, не давало мне покоя. Поборов некоторую неловкость, я все же спросил:

— Товарищ, извините меня, пожалуйста. Скажите, за что вы получили звание Героя Советского Союза?

Просто, даже слегка смутившись, наш спутник начал свой удивительный рассказ:

— ...А Героя-то как получил? А ты про панфиловцев слышал чего-либо?

— О двадцати восьми героях, которые, защищая столицу, погибли у Волоколамского шоссе в сражении с фашистскими

танками? Вы их имеете в виду?

— А-а-а. Слыхал, значит.

— Кто же о них не слыхал? Об их подвиге полмира знает!

Пассажир сразу стал называть меня на «ты». И это не было неприятно. Наоборот, я почувствовал к нему удивительное расположение. Ведь так называют только друга. И я, выражая свою признательность за это, сказал, что еще мой дедушка в деревне говаривал: «Ты» — господи, а «вы» — черти».

И мы расхохотались.

— Так слыхал, говоришь, про панфиловцев-то? — задумчиво повторил он. — Вот, товарищ дорогой, я — один из них.

Мы с приятелем недоуменно переглянулись.

— Как — «один из них»? Ведь они же все погибли!

Ясные глаза нашего собеседника опечалились:

— Погибли, дорогой товарищ. Все погибли. Хорошие ребята были. А я вот живой остался... Дело-то ведь как было?.. Если так... по-хорошему разобраться, дак танки — и оружие-то не страшное. Ты в бою только далеко от него не отбегай. Ты крутись около него, чтобы огонь поверху шел, — и завсегда победителем будешь...

Слушаем с товарищем и мысленно пытаемся поставить себя на его место.

«Крутись около него, — думаем. — Да какие же для этого надо иметь железные нервы! А он об этом так просто говорит, как о самом обычном деле».

— У нас в авангарде окоп узкий, — продолжает защитник Москвы. — Дак ведь что фашист надумал, язви его!.. Он, понимаешь ли, гусеницей в окоп наладит и норовит примять. Примять норовит!.. А у нас все ребята собрались со смекалкой. Дак мы в бок подрылись. Понял?

— Понял, — в один голос ответили с другом и снова с ужасом переглянулись.

— Как гусеница мимо меня пролезает, я вскакиваю — и бутылкой. Опять гусеница пролезает, я вскакиваю — и бутылкой.

Представляем с приятелем картину, как гусеница пролезает мимо в нескольких сантиметрах.

— А ведь не пропустили, — радостно блеснули зрачки защитника столицы. — Пятьдесят фашистских танков не пропустили! Как раз это было в октябре... А потом я удар сильный получил и сознание потерял. Тут, видать, после боя один старичок меня отыскал: видит, что живой, шевелюсь. Сначала к себе в сторожку уволок, а потом в госпиталь доставил. А передо мной один наш связной упал — Саша, товарищ мой, хороший парень. Он смертельно раненный был. Саша в другой госпиталь

попал. В том госпитале его и спрашивают: «Слушай... Скажи, кто в этом сражении последним упал?» А он и говорит: «Шемякин последним в бою упал». Сказал и помер. Выходит, все померли. А про то, что я в госпитале лежал, дак об этом узнали, когда я на Ленинградском фронте уже был. Сам знаешь, ведь война идет.

Помню, сижу как-то с ребятами в блиндаже. Как раз перед прорывом блокады. Тишина жуткая. Бывает на фронте такое затишье, от которого мороз по коже дерет. Поглядел я на ребят, вижу — молодые, боятся. И говорю: «Ребята, что это у вас за война? Что это тихо у вас так, а? Вроде как в санатории сидим».

И стал им про танковый бой рассказывать. Дак они вроде и про страх забыли. Об этом до комиссара дошло. Вызывает он меня к себе и спрашивает:

— Слушай, Шемякин, что это ты там ребятам рассказывал? Про какое это сражение? Теперь удержу на них нет. Так в бой и рвутся! — А я про себя думаю: мол, обмишурился. Может, про это и рассказывать нельзя.

— Ничего, — отвечаю, — товарищ комиссар. Ничего особенного не говорил.

Он меня во второй раз вызывает, ночью. Помню, в глаза так сурьезно смотрит и говорит:

— Ну, Шемякин, признавайся, как на духу: в каком ты это бою участвовал, а?

Тут я ему все и выложил. Сам понимаешь: ведь комиссар спрашивает. А он, веришь ли, товарищ дорогой, встал передо мной... Руки по швам вытянул, в глазах слезы и говорит:

— Эх ты, Шемякин, ты, Шемякин, родной ты мой! Что же ты мне сразу-то не сказал, да какой же ты есть человек? Ты даже сам не знаешь, какой ты есть человек. Тебе же ведь посмертно присвоено звание Героя Советского Союза! Дак у меня, знаешь ли, когда он это сказал, даже коленки подкосились. Вот как!

Мы долго молчали, потрясенные его рассказом. Потом я спросил:

— Товарищ Шемякин, а песню, песню про себя слышали?

Он удивленно посмотрел на меня и ответил:

— Нет, не слышал. Какая песня?

И я от всего сердца и для него, и в память о павших героях запел:

И в сердцах будут жить двадцать восемь
Самых смелых твоих сынов.
И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,

Золотая моя Москва!

Шемякин смущенно улыбнулся и попросил:

— Слушай, товарищ, напиши мне эту песню, а?

Я записал ему текст песни. Отдавая листок, с глубокой благодарностью посмотрел в его добрые голубые глаза и подумал: «На всю жизнь запомню урок великой простоты героя-панфиловца!»

Как стать настоящим человеком

Когда я впервые прочитал великолепную книгу Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», долго не мог успокоиться. Так глубоко она взволновала меня.

Помню, я положил книгу на стол и мысленно сказал себе: «Пусть она всегда будет со мной. Даже когда стану старым, буду вновь и вновь перечитывать эти страницы — и, верю, они и тогда придадут мне силы, помогут жить и трудиться».

И можете легко представить, как я обрадовался, когда режиссер Александр Столпер предложил мне сыграть летчика-истребителя Алексея Мересьева в кинокартине «Повесть о настоящем человеке».

Но тут же возникло беспокойство. Ведь в книге, литературном произведении, автор имеет право на вымысел, домысел, дорисовку образа. А каков он в жизни — прототип главного героя — Алексей Петрович Маресьев?

Думы о встрече с ним не давали покоя. Хотелось поговорить с этим удивительным человеком по душам.

О чем? Не о том, как он выползал из леса с перебитыми ногами, голодный, полумертвый. Об этом очень ярко рассказано в книге.

Как Маресьев живет сейчас? О чем думает? Горят ли у него по-прежнему глаза? Такие же они огненные, какими были когда-то в бою? Сохранил ли он в себе страстность отношения к жизни? Вот какие мысли, какие вопросы не давали мне покоя.

Знать об этом было важно не только для создания правдивого образа советского летчика в кино, но и для моего собственного становления как человека.

Впервые я встретился с Маресьевым под Звенигородом, где мы должны были снимать зимнюю натуру. Квартировали там в доме отдыха Академии наук. Жду Алексея Петровича и волнуюсь, волнуюсь и жду.

Вижу: по длинному коридору чуть покачивающейся походкой идет Маресьев. Мы узнали друг друга издали. Подхожу к нему, крепко жму руку. Он еще крепче пожал мою и почему-то смутился.

Так и записано в моем дневнике: «Прославленный летчик, Герой Советского Союза, человек, о подвиге которого знает чуть ли не весь мир, застенчив».

Входим в мою комнату. Молча садимся. Смущенно глядим друг на друга. Улыбаемся, потираем руки, нескладно хмыкаем, а разговор не клеится. Чувствую неловкость положения — и еще

больше волнуюсь.

Наконец Алексей Петрович заговорил первым:

— Я ведь знаю, что вас интересует больше всего. Очевидно, вас интересует, как это мне удалось преодолеть...

Он делает паузу, а я думаю: «Сейчас скажет: «...район Черного леса». Но он продолжает:

— ...преодолеть врачебную комиссию и доказать, что я физически здоровый человек.

И вдруг, неожиданно для меня, Алексей Петрович мягко и свободно встает на стул и страстно доказывает:

— Я ему говорю...

— Кому?

— А председателю комиссии: «Разве это — не ноги?! Разве не тренировка?!»

И, звонко похлопав ладонями по протезам, Маресьев спрыгивает со стула.

Так в кинокартине «Повесть о настоящем человеке» и родилась известная всем сцена. Никто ее не выдумывал, она шагнула на экран из самой жизни.

Не только в этом суть, что Алексей Петрович со стула прыгнул. А разве менее важно, какими глазами он посмотрел на меня после прыжка? «Неужели, — думаю, — сейчас увижу глаза человека, желающего скрыть от меня боль?»

Нет. На меня смотрят прекрасные, чуть раскосые, темные, с задорной искоркой глаза — глаза физически здорового человека.

Таким я и старался быть в образе Алексея Мересьева. Но съемки на природе предъявляют к актеру особые требования. Здесь заметна малейшая фальшь. На природе надо быть таким же естественным и правдивым, как она сама. Ох, как нелегко этого добиться от себя!

Три зимних месяца длились натурные съемки от восхода до захода солнца. Проходы, пролазы, долгие часы лежания на снегу с одной только мыслью: «Не соври, не ошибись!»

Не случайно режиссер Александр Борисович Столпер, угадывавший фальшь, даже если она была тщательно «загримирована профессионализмом», много раз давал команду «стоп»:

— Вы должны быть так же естественны и просты, как окружающая вас природа. Я вам не верю, что у вас раздроблены плюсны ног. Вам не больно.

— Но откуда вы знаете? Ведь я иду от аппарата — спиной к вам, а не лицом.

Помню, я не выдержал этих нервных «стопок», безжалостных «не верю» и попросил разрешения отдохнуть. Ушел в глубь леса,

сел под сосну и задумался. Случайно мой взгляд остановился на сосновых шишках. Они в изобилии валялись под деревом.

«А может быть, попробовать так?» — мелькнула мысль. Быстро снимаю унты и шерстяные носки. Выбрасываю мягкие стельки. Насыпаю в унты колючих сосновых шишек, натягиваю их на босые ноги, резко встаю — и тотчас со стоном шлепаюсь на снег от нестерпимой боли в ступнях. Поднимаюсь и, стиснув зубы до боли, все-таки иду. С великими муками доковылял до аппарата.

Александр Борисович подбегает ко мне и радостно одобряет:

— Отлично! Молодец! Великолепно! Приготовились к съемке. Мотор. Пошел...

Когда же я закончил первый удачный дубль и в изнеможении опустился на снег, счастливый режиссер не мог сдержать чувств:

— Вот это правда! О! Это — настоящая правда, неотделимая от окружающей нас природы.

Я молча снимаю унты и высыпаю на снег шишки.

Потом, в следующих дублях, и в других кадрах, шишки мне больше — не — понадобились. (Пережив в какой-то степени боль в ступнях, я, видимо, двигался в кадре более правдоподобно и реже слышал придирчивое «не верю».)

Видя, с каким трудом дается нам каждый кадр. Алексей Петрович Маресьев как-то на съемках сказал в мою защиту:

— Я ведь полз в течение восемнадцати суток и: почти все время в полубессознательном состоянии, а он в полном сознании ползает здесь в лесу уже более трех месяцев.

Столпер рассмеялся его шутке, а потом совершенно серьезно ответил:

— Да. Чтобы что-то получилось в кино, надо очень любить природу своего искусства, да и вообще надо очень любить природу!

Навсегда запомнилась мне одна фраза Маресьева, которая, как мне кажется, и послужила залогом успеха нашей картины:

— Будете работать над образом Мересьева, помните только одно — я не один, нас много.

И вы догадываетесь, кого мне сразу напомнила эта фраза. Конечно же, защитника Москвы Шемякина него бесстрашных товарищей. И не просто напомнила, а помогла еще ярче создать на экране образ Алексея Мересьева.

Мересьев, еще не вполне освоив протезы, с тросточкой в руке приходит на аэродром, чтобы совершить свой первый пробный полет на самолете По-2.

— Пижон! — говорит ему командир Наумов.

— Есть пижон! — отвечает Мересьев и отдает командиру

тросточку.

— Ну, вот что: первым пришел — первым и полетишь. Садись в машину.

Самолет делает круг над аэродромом. Мересьев счастлив, что снова в воздухе, снова среди своих товарищей, снова будет защищать любимое Отечество.

Несколько кругов над аэродромом, и командир дает команду идти на посадку:

— Вниз! Вниз!..

А Мересьев не может справиться с радостным волнением. Глаза застилают счастливые слезы. Он тянет к себе рукоятку управления — и самолет снова стремительно набирает высоту.

Еще один круг над аэродромом, «горка», еще круг, и, наконец, самолет приземляется.

Взволнованный летчик выходит из машины, не в силах сдержать счастливой улыбки.

Командир строго смотрит на него и, потирая от холода руки, говорит:

— По твоей милости полчаса лишнего летали.

Но, заметив необычное волнение летчика, более мягко замечает:

— Друг, ты чего в ботинках! Ноги, что ли, хочешь отморозить?

— А у меня нет ног, — просто отвечает Мересьев.

— Как «нет»?! Больные, что ли?

— Нет. Протезы — и все.

— А ну-ка, покажи.

— Вот...

Пораженный командир подходит к нему и говорит буквально ту же самую фразу, которую комиссар сказал Шемякину:

— Родной ты мой! Что же ты мне сразу не сказал, какой же ты есть человек? Ты даже сам не знаешь, какой ты есть человек!

Вот так наша удивительная жизнь переплетается с искусством. Так, равняясь не на выдуманных, а реальных героев матери-Родины, и вырастают настоящие советские люди.

«Я обязан вам жизнью!..»

Какая изумительная здравница! Хорошо человеку у целебных источников Трускавца — этого удивительного по красоте и щедрости уголка. Сюда я наконец-то выбрался с женой отдохнуть.

Исцеляемся «волшебной» живой водой источников, воздушными ваннами.

Вдруг получаю телеграмму из Москвы. Это приглашение принять участие в торжественном вечере, посвященном пятидесятилетию со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева. Чествование состоится в Доме ветеранов в Москве. В конце телеграммы подпись: «Маршал Советского Союза Тимошенко».

Смотрю на жену и тут же слышу, как всегда, ее добрый совет:

— Поезжай! А еще лучше — вылетай самолетом. И сегодня же, сейчас! Что отпуск? И что наш санаторий по сравнению с той радостью встречи, которая тебя ждет в Москве? Ради такого человека, как Алексей Петрович Маресьев, можно бросить все и лететь хоть на край света — только принести бы на крыльях ему радость.

...И вот — я уже вбегаю по ступеням трапа в самолет в аэропорту Львова. Осматриваюсь: все места заняты, кроме двух. Одно из них мое.

«Успел!» — облегченно вздыхаю и почти падаю на мягкое сиденье. Смотрю на часы: минута в минуту — время отлета самолета. Но трап еще не убран. «Видима, еще кого-то ждем, — думаю я. — Что же, все в жизни бывает. Может быть, сейчас кто-то, как и я только что, бежит по полю аэродрома, конечно же, надо подождать».

Проходит еще минут пятнадцать, а самолет все не взлетает.

Терпеливо ждем.

И вдруг в иллюминатор вижу, как к трапу самолета, тяжело передвигая ноги, опираясь на трость, подходит молодой мужчина. «Не младший ли брат Маресьева?» — мелькает мысль.

Пока стюардесса помогает человеку с палочкой подняться по трапу, успеваю вспомнить и похожую на эту походку Алексея Петровича Маресьева в день нашей первой встречи в Подмосковье, и как, насыпав в унты колючих еловых шишек, стиснув зубы от нестерпимой боли, иду по глубокому снегу к кинокамере, как, напутствуя, говорит мне Алексей Петрович:

— Будете работать над образом Мересьева, помните — я не один, нас много.

Войдя в салон самолета, новый пассажир быстро замечает

единственное свободное место и направляется к нему. Подходит, достает платок, устало вытирает им лоб, опускается в кресло рядом со мной и, улыбаясь, говорит:

— Жарко!

Соглашаюсь с ним.

— Да, — говорю, — жарко.

Мужчина резко поворачивает голову, внимательно смотрит в мои глаза и спрашивает:

— Кадочников?!

— Да, — подтверждаю, — Кадочников.

— Вот здорово!.. — радостно говорит он и продолжает рассматривать меня, будто не верит своим глазам.

Догадываюсь. Потому он так долго рассматривает меня, что чем-то очень взволнован, и волнение мешает ему говорить.

Немного успокоившись, мой сосед продолжает:

— А ведь я вас часто вспоминаю!..

— Меня?

— Алексея Петровича Маресьева и вас, создавшего образ Мересьева в кинофильме «Повесть о настоящем человеке». Если бы вы знали! Ведь я обязан вам жизнью!..

Замечаю: собеседник мой одет в кожаную куртку летчика. Догадываюсь, что с ним произошло несчастье, и... молчу. Молчу, потому что боюсь даже единым словом неосторожно коснуться его, как видно, только еще затягивающихся телесных и душевных ран.

А так не терпится — не ради праздного любопытства — узнать, что же случилось, где, когда? Да и кто он, сидящий рядом со мной человек?

— Видите ли... Я — летчик-испытатель, майор Круглов, — сам начинает рассказ мой собеседник. — А какая работа испытателя без неприятных сюрпризов? Риск — наша профессия. Испытывали сверхскоростной реактивный. Красавец самолет! Взлетает — так просто загляденье. Парит в небе — любо-дорого посмотреть. А вот благополучно приземляется не каждый. Из четырех-пяти один терпит аварию... В чем причина? Выяснить не удастся. Узнать ее можно только в полете. «Майор Круглов, твоя очередь», — говорит командир. «Есть», — отвечаю и — в кабину.

Взлетаю благополучно. Делаю над облаками круг, второй, третий — отлично. Испытываю машину на разных режимах работы. Пробую в небе всевозможные, головокружительные выражи — чудесно! Как в сказке!

«Что же это, — думаю, — вы, братцы-испытатели, такую красавицу машину, такую жар-птицу напрасно корите? Надо просто уметь удержать ее в руках. Да вы посмотрите с земли, как

в небе мы с нею понимаем друг друга, как слились в одно и в радостном ритме стучат паши моторы-сердца!»

Иду на посадку, а приземляться не хочется. В душе — соловьи. Поет душа и просится повыше в небо, поближе к звездам. Так бы летал и летал!..

Стремительно приближается земля. Лечу над лесом. Уже замечаю верхушки деревьев, пики елей... Пора выпускать шасси — готовиться к пробежке по аэродрому. Пытаюсь включить гидравлику...

«Что за чертовщина!.. На такой скорости на брюхо не сядешь. И катапультироваться поздно... Гидравлика не срабатывает — вот она, причина несчастий моих крылатых братьев...» — только и успеваю подумать.

...Очнулся, и не пойму: где я, что со мной? Между макушками деревьев? Не сон ли это?

Осматриваюсь и слева и справа вижу стропы парашюта. Поднимаю глаза вверх — вижу и сам парашют. Он зацепился за макушку дерева...

Увидев парашют, вспоминаю: «Гидравлика не срабатывает — вот она, причина несчастий моих крылатых братьев... Не выпускаются шасси... Но как же это я успел у самой земли катапультироваться? Как успела сработать рука? Не иначе как инстинктивно... Но почему я в таком подвешенном состоянии? Надо быстрее спускаться на землю и идти...»

Тут я глянул вниз и ужаснулся. «Боже мой! Да у меня вместо ног... кровавые сосульки!.. И с них не просто капает, а стекает темно-алая жидкость...»

Но что удивительно — я совершенно не ощущаю боли. Только кружится голова. И я понимаю — надо спешить, пока еще не вся кровь потеряла... Пока работает сознание, надо спешить!..

Решительно срезаю ножом стропы, и падаю вниз. Да что-то не рассчитал — упал в глубокий овраг, заросший кустарником... И слова теряю сознание, как в пропасть проваливаюсь.

Не знаю, долго ли лежал без сознания. Прихожу в себя и ощущаю жуткую боль. Глянул — лежу на пропитанной кровью земле. Внутренний голос говорит:

«Здесь меня никто не найдет... А я один знаю, что не срабатывает гидравлика... И обязан доложить командиру, сказать конструктору... Я должен жить!.. Должен выбраться из оврага!..»

Дотягиваюсь пальцами до веток кустарника, судорожно сжимаю их, резко подтягиваю вверх туловище, и адская боль пронизывает все тело.

Вот уж где вспомнил и Алексея Петровича Маресьева, и вас в образе Мересьева, всю книгу Бориса Полевого и весь фильм

«Повесть о настоящем человеке!»

«Как же так? — думаю. — Маресьев тоже с перебитыми ногами выбрался зимой из глубокой воронки, полз а трескучий мороз по лесу восемнадцать суток! А я не смогу подняться всего-то на несколько метров? Что я, не выползу? Выползу!»

Хватаюсь за другой кустарник, снова делаю к нему рывок — и снова из глаз искры от боли. И все бы ничего. Беда в том, что крови много потерял, сознание выключается. Сделаю рывок — и выключаюсь. Еще рывок — и снова проваливаюсь, как в пропасть, в небытие...

Очнусь на какое-то мгновение, и почти так же заставляю себя ползти, как Маресьев. «Ты не имеешь права умереть!.. И твои друзья-испытатели не должны больше умирать из-за этой гидравлики... А самолет — что надо!.. Он так необходим моей Родине!.. Он будет защищать наше небо... И я его буду защищать... Буду... Буду... Буду!..»

С невероятным трудом делаю еще один рывок вверх по крутому откосу. И до чего же обидно! Вот уже она, кромка обрыва. Рукой подать. А силы иссякли.

Слышу, самолеты, вертолеты где-то совсем рядом летают. Понимаю: ребята ищут меня, а выбраться из оврага не могу. Один вертолет проносится прямо над головой, а я не могу ни поднять руку, ни помахать. Сил хватает лишь на то, чтобы проводить вертолет взглядом.

И знаете, что я вспомнил в самую тяжелую минуту?

— Что? — спрашиваю.

— Вспомнил, как вы, то есть Мересьев, совершенно обессилевший, смотрите из глубокой воронки в небо глазами, полными слез, а услышав гул родного, советского, самолета, вдруг делаете — откуда взялись силы! — последний рывок, и глубокая воронка оказывается наконец-то внизу. Я сделал так же. Гул самолетов и вертолетов прибавил мне сил. Стиснув зубы, делаю отчаянный рывок — и вот я на гребне обрыва... Спасибо вам большое!..

Он с такой благодарностью говорит и смотрит на меня, как будто и в самом деле я в трудный час подал ему руку и вытащил его из смертельного рва.

— А вы, Павел Петрович, летите в Москву на киносъемку? — после небольшой паузы спрашивает мой славный собеседник.

— Да нет, — отвечаю. — Спешу на пятидесятилетие Алексея Петровича Маресьева.

— Вот здорово! Я вас очень прошу: передайте летчику-истребителю Маресьеву сердечный привет от летчика-испытателя майора Круглова. Обнимите его и скажите большое спасибо ему.

Ведь он мне жизнь спас!..

...И вот я в столице, на торжественном вечере. На украшенной цветами сцене, за столом почетных гостей сижу рядом с юбиларом и самыми дорогими его сердцу людьми. Вечер ведет писатель Борис Полевой.

Один за другим выходят из-за стола, поднимаются из зала на сцену боевые друзья юбилара, прославленные военачальники, ветераны войны и труда, рабочие, солдаты, курсанты, студенты, школьники, комсомольцы, пионеры.

Все приветствия юбилар слушает стоя. А так как выступающие поднимаются к трибуне почти без интервала и каждому хочется сказать как можно больше добрых слов, торжественный вечер затягивается.

Смотрю на Алексея Петровича и понимаю, как нелегко ему все это выслушать, а тем более выстоять час, второй, третий...

«Сейчас, — думаю, — Борис Николаевич Полевой предоставит слово мне. Скажу как можно короче и самое главное. Но как это сделать? Ведь моя судьба — и артиста, и человека — так слита с судьбой этого легендарного летчика! Так о многом хочется сказать в этот вечер!..

Может быть, вспомнить, как в Подмоскovie снимали картину «Повесть о настоящем человеке»? Не рассказать ли о том, как Алексей Петрович на моих глазах тогда мягко и свободно встал на стул и с жаром начал доказывать;

— Я ему говорю...

— Кому? — переспрашиваю.

— А председателю комиссии. Разве это не ноги? Разве не тренировка?

Как, звонко похлопав ладонями по протезам, Маресьев тогда совершенно неожиданно для меня спрыгнул со стула, убедительнее всего доказав, что он в силах еще подняться в небо, что может еще защищать Отчизну!..

А не вспомнить ли, как он, защищая на киносъёмках меня, говорил Александру Борисовичу Столперу:

— Я ведь полз в течение восемнадцати суток и почти все время в полубессознательном состоянии, а он в полном сознании ползает здесь в лесу уже более трех месяцев...

Нет, пожалуй, здесь лучше вспомнить, как в день нашей первой встречи в Подмоскovie Алексей Петрович сказал мне:

— Будете работать над образом Мересьева, помните об одном — я не один, нас много.

А как гордятся воины многих гарнизонов, где мне допелось быть с концертами или просто на вечерах встречи, подвигом Алексея Петровича Маресьева!

Да и не только гордятся, а, главное, в тяжелейшие минуты и сегодня воины поступают так, как поступил в годы войны раненый летчик-истребитель Маресьев.

И тут меня осенила мысль: «А расскажу-ка я все, как есть, о летчике-испытателе Круглове...»

Слышу, как Борис Николаевич называет мою фамилию. Подхожу к микрофону и, ничего не выдумывая, рассказываю о том, что слышал в самолете от мужественного испытателя.

И выступление свое закапчиваю теми же словами.

— Алексей Петрович, — обращаюсь к юбиляру, — мой удивительный спутник в салоне самолета так и сказал: «Я вас очень прошу: передайте летчику-истребителю Маресьеву сердечный привет от летчика-испытателя майора Круглова. Обнимите его и скажите большое спасибо ему. Ведь он мне жизнь спас!..» С удовольствием выполняю эту просьбу от его имени.

Под овацию зала подхожу к легендарному летчику, обнимаю его. И чувствую: Алексей Петрович будто обнимает с такой силой не меня, а своего младшего брата по духу, крыльям и небу — майора Круглова!..

Язык мира один

Язык мира один

С какой любовью и симпатией советские люди относятся к Индии, вы наверняка хорошо знаете. Не сегодня родилось наше доброе чувство к великому и свободолюбивому индийскому народу. Знаете вы и о том, что дружеские чувства, связывающие наши народы, взаимны. И в этом нам, советским кинематографистам, посчастливилось убедиться.

...В Калькутте нас встречают друзья Советского Союза. Поднимаемся по широкой лестнице старого дома на четвертый этаж. Входим в зал с небольшой эстрадой, перед которой стоит высокий бронзовый кувшин с ярко-красными цветами. Пол скромного помещения, покрытого серой материей, густо забросан лепестками роз. Гостей из Советского Союза усаживают на сцене и, как полагается по существующим традициям, в знак особого расположения надевают нам на шеи венки из роз.

Молодой человек, сидящий перед нами, заиграл на национальном инструменте трехтысячелетней давности — ситаре — и под звуки мелодии запевает тихим ясным голосом:

Мы, люди Индии, говорим
На разных языках.
Но против войны язык наш один.
Мы не позволим ей ступить
На нашу землю
Своей тяжелой чугунной ногой.
Богата наша земля, но люди бедны.
Руки! Руки друг другу!
И счастье придет!
Шанти! Шанти! Шанти! —
Мир! Мир! Мир!

«И счастье придет!» — подхватывает хор всего-навсего из шести человек. Но песня звучит так, будто поют ее очень много людей.

Короткая пауза. Молодой человек поднимает голову и говорит:

— У нас, в Бенгалии жил поэт. Он умер, когда ему было всего лишь девятнадцать лет! Он написал песню.

Певец трогает пальцами струны ситара и снова запевает:

Когда я родился и глаза мои

Стали видеть жизнь,
Я понял, что мать моя,
Родина моя, в кандалах.
Я увидел, что мы не свободны.
Я увидел, что мы голодны и нищи.
Но мы пищи не духом!
И у нас есть силы.
Мы находим их в любви
Друг к другу.
И мы будем бороться!
И я, поэт революции,
Зову вас к свободе и счастью!

После небольшой паузы вдруг кто-то из присутствующих в зале запекает звонко и чисто на своем родном языке:

Широка страна моя родная...

Взволнованные, мы тут же дружно подхватываем:

Много в ней лесов, полей и рек.

В песню вливаются все новые и новые голоса. И вот уже поют все:

Я другой такой страны не знаю.
Где так вольно дышит человек!..

А разве забудешь столицу Индии!..

Старый Дели. Площадь. На маленькой, наскоро сколоченной эстраде — стол и несколько стульев, над ней — портрет Владимира Ильича Ленина, вышитый на очень тонком материале.

Собравшиеся сидят на земле. Площадь поделена пополам длинной веревкой: мужчины сидят по правую сторону, женщины — по левую. Они пришли посмотреть на людей из страны Ленина.

У микрофона — худенький молодой человек. Он — руководитель Демократической федерации молодежи Индии, один из организаторов сегодняшней встречи. Молодой человек говорит о советском народе, который несет человечеству мир и свободу.

— Совьет Сангх зиндабад! — заканчивает свою речь молодой

человек.

И три тысячи голосов подхватывают:

— Совьят Сангх зиндабад!

— Посмотрите на них, — говорит мой сосед. — На тех, кто стоит у микрофона. И запомните их лица. Это истинные борцы! Они приносят свою жизнь в жертву, борясь за свободу своей родины, за свободу Индии.

Вот молодая женщина, худенькая и красивая, подает нам вышитого на кусочке шелка голубя мира. Развернув свою, работу изображением к собравшимся, женщина передаете ее нашей делегации.

...Дорога в Мадур. Едем через джунгли. Много ассоциаций, связанных со словом «джунгли», возникает в памяти.

У Киплинга в «Маугли» джунгли — это непроходимые дебри, лианы, болота, реки, кишачие крокодилами, львы, леопарды, тигры, стада слонов. Такими джунгли; представляются очень многим.

Ничего подобного не вижу. Едем по великолепной асфальтированной дороге, построенной во времена английских колонизаторов. По правую сторону тянутся каучуковые плантации и лесоразработки. Все выглядит обыденно, лишено всякой романтики и экзотики.

В Мадуре мы отправляемся в университет. Студенты собрались здесь за шесть часов до встречи. Пятсот человек в небольшом зале. Возбуждены до предела.

Слово советского человека, простое и доброе, о дружбе и мире, о значении кино, переданный привет от советской молодежи взрывают аудиторию приветственными возгласами.

На трибуну поднимается высокий юноша.

— Мы хотим увидеть Москву! Мы хотим читать ваши книги! Хотим общаться с вашей молодежью!

Бенгалия...

Вечер. Берег моря. На желтом песке, позолоченном лучами заходящего солнца, тысячи людей. Они сидят на песке, повернувшись лицами к маленькой трибуне. Все в очень ярких одеждах. На женщинах бледно-розовые, желтые, синие, красные, пестрые, фиолетовые, бордовые сари, мужчины — в белоснежной одежде, на которой поблескивают украшения. Все это сливается как бы в огромную яркую клумбу цветов, выросшую неожиданно на берегу Бенгальского залива.

Лица в поле моего зрения внимательны и светлы. Молодые индусы хотят понять, узнать, увидеть, рассмотреть людей, пришедших к ним с добрыми словами «дружба» и «мир». Сколько на этих лицах радости, когда мы складываем ладони в

традиционном индийском приветствии в знак благодарности за прием!

Трудно выразить словами, сколько чувств отражается на лицах, когда Вера Петровна Марецкая передает привет от советских женщин. Удивление и радость, восторг и желание понять.

Еще бы! Женщины, пришедшие на митинг, и здесь сидят отгороженные веревочкой. И вдруг женщина на трибуне!

— Женщины Мидии! — тепло звучит голос Марецкой. — Пользуясь случаем, передаю вам привет от женщин Советского Союза.

Очень простые слова. Немного их, по, видно, столько в них души, что женщины утирают слезы копчиками сари.

Я и мои товарищи бросаем цветы в толпу. И тысячи рук взлетают к голубому небу в надежде поймать хоть лепесток на память о советских людях.

Любовь к Советскому Союзу, вору в него, как в оплот мира и дружбы, мы ощущаем не только на организованных митингах и официальных встречах.

Едем на мыс Коморин. Это самая южная точка Индии. Знойный день. За окнами автомобиля мелькают деревни, похожие друг на друга, как близнецы. Те же рыжеватые пальмовые крыши, в загородках очаги, законченные горшки, кастрюли на ограде.

Жители машут нам руками, улыбаются, складывая ладони перед лицом.

К нашей машине подбегает молодой человек. В руках у него бумажка. Он хочет прочесть текст, но не может — у него от волнения дрожат руки. Тогда юноша зажимает бумажку в кулак, поднимает руку и как бы рубит ею сверху вниз по горячему воздуху.

— Совьет Сангх зиндабад!

Нам показалось, в воздухе что-то взорвалось. Десятки рук протягиваются в открытые окна машины, чтобы только дотронуться до советских людей.

Автомобиль идет довольно быстро, и все же мою руку успевает пожать паренек лет восемнадцати. Он бежит рядом, стараясь не отставать, улыбается и что-то возбужденно кричит. А я отвечаю ему:

— Спасибо, спасибо, родной!

Он продолжает бежать рядом и все время повторяет:

— Пасыба, пасыба, рашеп!

Мы видим, как он кладет свою правую руку на сгиб левой так, как носят детей, и убегает куда-то, бережно неся домой рукопожатие советского человека.

Велика и прекрасна Индия!..

Потрясающие по красоте пейзажи. Величественные памятники древней архитектуры. Необычны для русского человека нравы, обычаи и обряды индийского народа — нашего великого друга. И хочется сказать всем этим людям прекрасной Индии:

— Будьте всегда свободны и счастливы!

С сыновней любовью думаю о прекрасной земле Чехословакии, о ее людях.

Вспоминаю, как однажды мне довелось выступать в Обществе русского языка. Волнуюсь. Хочу прочесть вступление к «Медному всаднику» Александра Сергеевича Пушкина. «На берегу пустынных волн...» — начинаю, стараясь выразить образ величавой и суровой северной реки.

И вдруг мне, как эхо, откликаются буквально все присутствующие в зрительном зале: «На берегу пустынных волн...»

Едва успеваю произнести следующую строку: «Стоял он дум великих полн...» — как по зрительному залу снова проносится: «Стоял он дум великих полн...»

И так мы вместе прочитали все вступление к «Медному всаднику».

Как же радостно у меня билось сердце в тот момент! И какой гордостью наполнилось оно за свою Родину, за русскую поэзию! За то, что в России родился Пушкин!

В Злата Праге много великолепных памятников. Ее жители по праву гордятся своей столицей. Но есть среди них один, отношение к которому проникнуто особой человеческой любовью и глубоким уважением.

На гранитном постаменте установлен советский танк КВ-34. Около него всегда цветы. Этот танк был участником боев за освобождение Праги в мае 1945 года. И стоит он теперь как символ доблести, славы и геройства воинов-освободителей.

На одной из встреч со зрителями в Готсальдове, где в летнем кинотеатре собралось около тысячи человек, товарищи попросили меня обратиться с приветствием после демонстрации нашего фильма.

Полагая, что жителям города будет очень приятно услышать от русского хотя бы несколько слов, сказанных на их родном языке, я попросил переводчицу Миладу мою коротенькую речь написать по-чешски русскими буквами. Она любезно согласилась это сделать.

И вот мне предоставляют слово, подхожу к микрофону:

— Дрази совдруги и совдружки! Дякую вам за вашу ласку к нашему советскому умени. Ласка к советскому умени то ласка к животу!..

В переводе эти и последующие слова означали:

— Дорогие товарищи! Спасибо вам за вашу любовь к нашему

советскому искусству. Любить советское искусство — это значит любить саму жизнь. А любить жизнь — это значит любить светлое будущее. Это значит неустанно бороться за мир!

Едва успеваю произнести первые слова, как все присутствующие встают и, скандируя, произносят:

— Ать жие Советский Связ!

— Ать жие Советский Связ!

— Ать жие Советский Связ!

— Да здравствует Советский Союз! Да здравствует Советский Союз! — гремит под вечерним небом.

И вдруг мы видим, как, раздвигая стоящих в проходе, к сцене пробирается маленькая седая старушка. Она проворно поднимается по ступенькам, подходит ко мне. Я в растерянности стою у микрофона. Старушка говорит о том, что ее сын погиб, сражаясь за свободу своей любимой родины. И она, его мать, думала, что никогда больше не увидит сына. Она счастлива, что это оказалось не так.

— Я вновь нашла потерянного сына, — говорит старушка.

И, взяв мою руку в свою, она надевает на мой палец кольцо со светлым камешком.

— Если у вас есть мать, — продолжает она, — то я буду вам второй матерью. Если же у вас ее нет, считайте, что вы вновь нашли ее. В вашей стране мужчины редко носят кольца, но вы носите его всегда! Этот маленький светлый камешек напомнит вам слезу матери по погибшему и вновь обретенному сыну.

Не могу сдержать чувств и откровенно плачу.

Старушка своим платком по-матерински вытирает мне слезы, сходит со сцены и исчезает в толпе.

А под вечерним небом гремит:

— Ать жие Советский Связ!

Несколько лет спустя в форме капитана третьего ранга стою на капитанском мостике корабля. Снимается фильм «Балтийская слава». Сейчас капитан Ордынцев поведет свой корабль в бой за Родину. На указательном пальце его левой руки поблескивает кольцо со светлым камешком. Должно быть, ему очень дорого оно.

Не случайно же время от времени он поглядывает на кольцо, поворачивает его пальцами то вправо, то влево и твердым голосом говорит:

— Право руля. Лево руля!

А еще через некоторое время получаю письмо от нареченной матери из Чехословакии и с волнением читаю: «Дорогой сын! Я видела, как ты вел свой корабль в бой за свою любимую Родину. Я видела, как ты в трудные минуты смотрел на кольцо, что было

надето на твою левую руку. Я очень счастлива сейчас, очень рада, что ты не забыл меня...»

Да разве возможно забыть мать?! Глазами сына и сегодня смотрю на Чехословакию, с любовью сына думаю о ней.

Вера в человека

«Сыграйте на счастье!..»

Среди снимков особенно дорогих мне людям храню фотографию с надписью: «Моему очень любимому и настоящему талантливому художнику Павлуше с благодарностью и уважением.

Сергей Юткевич».

И хотя под этим снимком он уточняет время — «В день начала работы по «Свердлову». 22.V.40 г.» — всегда вспоминаю Сергея Иосифовича Юткевича, когда он с увлечением смотрел все спектакли Нового ТЮЗа в Ленинграде в тридцатые годы. Он очень любил наш театр, был дружен с его главным режиссером Борисом Вольфовичем Зоном.

Видимо, вдоволь насмотревшись на плоды творчества в разных спектаклях автора этих строк, Сергей Иосифович решил пригласить меня сыграть маленькую роль в своем фильме «Человек с ружьем».

Почему меня? Трудно ответить. Вероятно, у него были на этот счет свои соображения. Возможно, и Борис Вольфович сказал Юткевичу, что я могу говорить с ярко выраженным уральским говором. Сам эпизод небольшой, но значение его велико. Не случайно же им начинается фильм. Об этом не раз говорил мне перед съемками режиссер-постановщик.

И вот съемки. Минуты затишья. Перемирие в осточертевшей всем честным людям первой мировой войне. Втыкают в землю штыки русские. Их доброму примеру следуют немецкие солдаты.

Как не порадоваться — пусть и минутному! — взаимопониманию, возникшему между солдатами недавно еще воевавших не на жизнь, а на смерть враждующих армий.

Моему герою — солдату-крестьянину — особенно дорога мирная жизнь.

Мысленно переношусь в родные хлебоборбные края. Вспахиваю искрящимся на солнце плугом ароматную весеннюю землю. Бороню, сею. Зримо вижу налитые колосья ржи, ячменя, пшеницы. А все поле стройными рядами, как солдаты, охраняют золотоголовые подсолнухи-великаны.

Вне себя от радости снимаю шапку, насыпаю в нее семечек и иду по траншее окопа. «Куда?» — спрашивает меня Иван Шадрин. Отвечаю с улыбкой: «Немца угощаю. Советую ему немецкого царя свергнуть. Понимает черт... Говорит «гут»...»

Вылезаю из окопа и иду, безоружный, как и многие мои боевые друзья, к немцам брататься!

Но офицер срывает плакат «Долой войну!», вырывает винтовку из земли, в ожесточенной злобе кричит:

— Измена! Назад, изменники!

— Господин капитан, — говорит ему Шадрин, — дозвоьте винтовку... Ведь немцы по нашим окопам не стреляли...

Но капитан входит в азарт стрельбы и громко кричит;

— Это измена!..

В ответ раздаются выстрелы и с немецкой стороны. Вот уже и застрочил пулемет.

Я попадаю под перекрестный огонь чужих и своих. Вынужден с русскими солдатами возвращаться к своему окопу.

У проволочного заграждения запутываюсь, рассыпаю семечки. Торопливо подбираю их. Встаю в полный рост, умоляю:

— Стой, братцы! Не стреляйте! Своих бьете!..

И в этот миг, на самом гребне окопа, меня настигает немецкая пуля. Она догоняет меня и ударяет в спину. До боли ощущаю ее жжение. Помутилось сознание. Закружились небо, земля — и я падаю в окоп между Шадриным и офицером, так и не понимая, за что же в меня выстрелили? За то, что я хотел всем мира и добра? Но разве за это убивают?!

Все это было сделано мною, видимо, так убедительно, правдоподобно, что, помню, ко мне подбегает Юткевич, обнимает, целует и говорит:

— Молодец, Павлуша! Очень хорошо!..

Стою, смущенный похвалой, счастливый, что не подвел режиссера-постановщика. А Сергей Иосифович еще и извиняется:

— Павлуша, извините меня, пожалуйста, дорогой. Ведь вы шлепнулись в окоп с грязью.

— Да что вы, Сергей Иосифович, — отвечаю. — Окоп как окоп. Осенью он и должен быть с грязью. А то, что я плюхнулся в нее, так меня: же немецкая пуля смертельно ранила. Любой артист на моем месте точно так бы поступил. Это же наша работа.

Конечно же, режиссер хорошо понимал, что я должен был упасть не на дно окопа, а на руки Шадрину. Но, войдя в образ, я остро ощутил смертельное ранение и со всего маху упал так, что Борис Тенин, игравший Шадрину, не удержал меня, и я плюхнулся в липкую жижу.

Было мне тогда двадцать два года. Ничего особенного в этом поступке я и не нашел. А Сергей Иосифович увидел здесь нечто большее. И через десять лет, когда я сыграю Алексея Федотова и Алексея Мересьева, другие роли, в рецензии «Зрелость таланта» он вспомнит этот случай:

«Актёру экрана приходится часто работать в суровых условиях природы, не желающей считаться с замыслами

сценариста и режиссера... Съемки на натуре в изнурительной жаре или тридцатиградусном морозе, под рев пропеллеров, взметающих искусственную метель, под струями брандспойтов, изображающих тропический ливень, в опасном соседстве с пиротехническими фугасами, засыпающими нас отнюдь не бутафорской землей, переходы, пожары, полеты в небе, переползания по грязи и снегу и больше всего мучительные часовые, суточные, а часто и недельные ожидания кусочка солнца (или, наоборот, тумана), то есть тех особых специфических атмосферных и световых условий, при которых только и может быть снят данный уникальный кадр, — все это нормальные будни киноактера.

И вот в этих условиях, тянущихся дни, недели, месяцы, извольте еще играть, играть хорошо, ясно, точно, «нести сквозное действие», жить в «образе», мгновенно включать и выключать из него, повторяя по команде режиссера: «Еще раз!» и «Еще раз!» — сотни раз те маленькие кусочки, которые потом промелькнут на экране в несколько секунд.

Вот это умение хранить верное творческое самочувствие, не уклоняясь от трудностей, а штурмуя их «в лоб», стало одним из основных качеств недюжинного дарования Кадочникова, определив его направленный, волевой характер. И так же, как десять лет назад, он многократно грохался в жидкую грязь окопа, добиваясь выразительного кадра, так и ныне, в образе «настоящего человека», неделями полз он перед киноаппаратурой по вязкому снегу звенигородского полесья, весомо и зримо восстанавливая перед будущим зрителем этот нескончаемый и трагический путь своего героя...»

До Федотова и Мересьева мне было еще далеко. Солдат в «Человеке с ружьем» был моей первой ролью у режиссера С. И. Юткевича и одной из первых моих работ в кино.

Но уже эта крохотная роль, исполнитель которой даже не значился в титрах фильма, для Сергея Иосифовича, как видим, не осталась незамеченной. Более того, он считал, что мое участие в его фильмах приносит ему удачу.

Как только он замыслил новую картину, всегда приглашал меня сниматься. Даже если в ней не было для меня никакой роли, он обязательно придумывал какой-нибудь маленький эпизод и просил:

— Павлуша, сыграйте на счастье!.. Вы — везучий, а я — суеверный.

Улыбался, конечно, при этом.

И я не мог ему отказать. Играл все, что он мне предлагал. Играл, не обращая внимания на то, что не значусь в титрах. Играл

от всей души — на счастье!

Но зато в киноленте «Яков Свердлов» Сергей Иосифович доверил мне сыграть сразу две роли — Алексея Максимовича Горького и Леньку Сухова. И тот и другой образы мне очень дороги. Они — одни из любимых моих ролей.

Впрочем, играть посредственно в «Человеке с ружьем» и в «Якове Свердлове» было нельзя еще и потому, что здесь снимались Максим Штраух, Николай Крючков, Борис Чирков, Марк Бернес, Борис Тенин, Константин Сорокин... Вернее сказать, они не играли, а жили в образах.

Какой правдивый образ Ленина создал Максим Штраух в «Якове Свердлове»!

...Ленин с врачом у больного Якова Михайловича Свердлова. Войти в комнату во что бы то ни стало надо и мне — Леньке Сухову. Ведь в руках у меня чашка с медом. Это — подарок Якову Михайловичу от мамы и меня. Узнав, что Свердлов тяжело болен, мама, так же, как и я, любящая Якова Михайловича еще с тех трудных лет ссылки, проводила меня к больному Свердлову. Как же мне не войти в этот тяжелый час к нашему давнему доброму другу?! Но, робея, никак не решаюсь коснуться ручки двери. Стою, переступая с ноги на ногу...

Вдруг дверь распаивается и из нее выходят Ленин и врач. Владимир Ильич спрашивает доктора о здоровье Свердлова. Врач отвечает, что жить Якову Михайловичу осталось мало, считанные часы.

Эти слова доктора потрясают Ленина. Смотрю в лицо Владимира Ильича, убитое горем, и не замечаю, как чашка выскальзывает из моих дрожащих рук и разбивается вдребезги.

— Стоп!.. Молодец, Павлуша! — слышу голос Юткевича. — Мы чашку снимем отдельно. Рапидом.

И на экране вы видите, как из моих рук медленно падает чашка и ее осколки разлетаются в разные стороны. Снято замедленной съемкой. Такой прием в кинематографе называется рапидом.

Вот ведь как бывает: великолепная игра Штрауха помогла и мне найти верное решение своего образа. Да разве только мне!

Ведь для того чтобы все исполнители образовали стройный ансамбль, необходим режиссер-постановщик, способный создать этот ансамбль, так сказать, учитель актеров. Сергея Иосифовича Юткевича всегда считаю одним из моих добрых учителей.

Учителем не назовешь режиссера, с которым артист просто познакомился в работе над фильмом, исполнил свой, как говорится, профессиональный долг и — расстался.

Почему же Юткевича называю своим учителем? Потому что

он относится к тем людям, у которых мы всегда учимся. И учимся не просто чему-то, а только хорошему. Учимся подлинному, настоящему искусству. Учимся чувствовать, понимать и любить жизнь.

Такими режиссерами-учителями для меня навсегда останутся Сергей Михайлович Эйзенштейн, Сергей Иосифович Юткевич, Борис Вольфович Зон, Борис Васильевич Барнет, Александр Борисович Столпер, Татьяна Григорьевна Сойникова, Александр Викторович Ивановский...

Снимаясь в «Иване Грозном» у Эйзенштейна, я так часто и с такой любовью рассказывал о Юткевиче, что Сергей Михайлович с добродушной улыбкой обычно говорил:

— Ну, юткевичский артист, иди в кадр...

На закате жизни Сергей Иосифович пригласил меня на роль Поля Лафарга в киноленте «Ленин в Париже». Откликнулся с удовольствием. И образ любимый, и режиссер. Это был последний фильм, в котором я работал вместе с Юткевичем.

Встречу Ленина с Лафаргом снимали в Париже, в усадьбе Лафаргов. Все мы тогда не могли не видеть, что работает Сергей Иосифович с редким мужеством, мучительно и стойко преодолевая боль. Случались дни, когда болезнь приковывала его к кровати, но и тогда он находил в себе силы делать тщательные разработки, давать мудрые советы и просил лишь об одном:

— Продолжайте съемки...

Спешил творить!..

Нужно ли говорить, с какой самоотдачей и каким желанием — пожалуй, с еще большим, чем в «Человеке с ружьем» и «Якове Свердловце», — я стремился вложить всю душу в любимый образ. И как в те давние, очень давние годы думал: «Только бы оправдать доверие режиссера! Только бы помочь воплотиться в жизнь его надеждам!»

...После премьеры фильма «Ленин в Париже» прочел в «Советском экране» слова о том, что Поль Лафарг — лучшая роль в кино Павла Кадочникова. Прочел — порадовался прежде всего за Сергея Иосифовича и с благодарностью подумал: «Спасибо тебе, Учитель!»

Счастливым дар

Константин Сергеевич Станиславский говорил, что один из признаков талантливого человека — находить талант в другом человеке.

Общаясь с Сергеем Михайловичем Эйзенштейном, я понял, что этим великолепным даром он обладал в полной мере: умел открыть или отыскать талант в самых неожиданных людях. И не только в актерах.

Мы часто видели, как Эйзенштейн в перерывах между съемками или до съемок разговаривал с осветителями или плотниками-декораторами, дольщиком — рабочим, управляющим тележкой при движении камеры, уборщицей или маляром.

Иногда мы спрашивали друг друга: «Что Сергей Михайлович находит в этих разговорах?» То ли он оттачивал в таких беседах свои мысли, то ли проверял решения, но я точно знаю, что эти разговоры были ему крайне необходимы.

Некоторые режиссеры не любят показывать рабочий материал картины. Сергей Михайлович делал это с удовольствием. Правда, выбирая, видимо, необходимых ему зрителей. А после просмотра всегда внимательно выслушивал советы и расспрашивал о впечатлении.

Довольно часто он показывал материал картины Амвросию Максимилиановичу Бучме и мне. Как-то я спросил Эйзенштейна, почему именно мне.

— Тебе, потому что ты малый и непосредственный, а Бучме — потому что он старый и мудрый, да еще с богатым актерским опытом.

Лицо Бучмы всегда оставалось спокойным, сосредоточенным. Прочесть по нему ничего нельзя было до тех пор, пока он не заговорит.

Зато на моей физиономии Эйзенштейн, видимо, прочитывал все: в каком месте заскучал малый, в каком неожиданно расхохотался, а то вдруг на глаза навернулись слезы.

Однажды я посмотрел материал эпизода из «Ивана Грозного», где артист оперы Максим Дормидонтович Михайлов поет «Многая лета». Два дня спустя Сергей Михайлович говорит:

— Придется переснимать «многолетие».

— Почему?

— Ты видел?

— Видел.

— Что ты об этом скажешь?

— Мне трудно сказать, Сэрмих (так мы называли Сергея

Михайловича сокращенно), но что-то в этом кадре есть неприятное.

— А что? — спрашивает грозно.

— Не могу понять.

Спустя два дня:

— Я знаю, что тебе не понравилось. Я тетю Пашу спросил. (Тетя Паша — наша любимица, домработница Сергея Михайловича. Он ей тоже часто показывал материал.) Она довольно просто выразила свое мнение: «Богохульствуешь, Эйзенштейн. У тебя протодьякон поет, а у него все потроха видать». Буду переснимать.

В этом разговоре для меня открылась непоказная, истинная скромность Эйзенштейна, которую он иногда прятал за иронией, его самокритичность и готовность прислушаться к чужому мнению.

Но была в этом и другая сторона. Эйзенштейн прежде всего заботился о том, чтобы зрителю все было понятно. Этой конечной цели он подчинял все, в том числе и работу с актерами. Видимо, поэтому «Грозного» смотрят с интересом все — от интеллектуалов до людей, мало искушенных в истории и искусстве.

Через потрясение высокой мыслью и мастерством Эйзенштейна проходят даже те, кто не согласен с ним и его трактовкой образа Ивана Грозного.

Я счастлив, что понял это в первый период работы с Сергеем Михайловичем. Вот почему я никогда не сопротивлялся его заданиям.

Между прочим, Эйзенштейн все же «отыграл» разговор о протодьяконе. В сцене убийства Владимира Андреевича в соборе мне захотелось подчеркнуть игрой ужас гибели князя. И я предложил Сергею Михайловичу снять, кроме общего, средний план смерти Владимира. Он ответил: «Вот и будет потроха видать».

И действительно. Зритель ведь должен увидеть не физиологию смерти, а трагедию казни «без вины виноватого» Старицкого. А тему эту «играл» не только я, актер, но вся мизансцена с вереницей опричников, их черными тенями на фоне фрески Страшного Суда и гениальный хор Сергея Прокофьева работали во имя успеха дела.

Первую встречу с Эйзенштейном помню очень хорошо. Она произошла в столовой. Перед этим я месяц и двенадцать дней добирался со съемочной группой «Оборона Царицына» в 1941 году из Сталинграда в Алма-Ату.

В костюмерной мне дали венгерку, в таком виде я и пришел в

студенческую столовую. Вдруг чувствую на себе пристальный взгляд: кто-то внимательно изучает, как я ем, как разговариваю.

Несколько позже Ольга Шепелева попросила меня зайти к Эйзенштейну. Она, архитектор по профессии, настолько была влюблена в гений режиссера, что пошла к нему помощником, Борис Свешников, второй режиссер Эйзенштейна, передал мне его приглашение попробоваться на роль Владимира Андреевича Старицкого.

Позже Сергей Михайлович признался:

— В этой роли мне грезился молодой Николай Охлопков.

Почему же Эйзенштейн выбрал именно меня на роль Старицкого — наивного, по-детски бесхитростного? Трудно сказать точно.

До войны я снимался в роли композитора Мухина в фильме «Антон Иванович сердится». Говорили даже, что это якобы первый интеллигентный персонаж в советском кино. Но роль совсем не похожа на то, что предстояло воссоздать в «Иване Грозном». Значит, Эйзенштейн шел не от впечатлений о моих прежних работах.

Может, из моих типажных данных? Тоже нет. Ведь в «Грозном» я играл одну роль Владимира. Когда уже был утвержден на нее, Сергей Михайлович вдруг сказал: «Не сыграть ли тебе еще Евстафия?» Сказал и, казалось, забыл. Но когда пришло время снимать эпизоды с Евстафием, играл его я.

Между Евстафием и Владимиром Старицким нет сходства. Более того — это два полюса. Евстафий — духовник мира, младший Колычев, брат митрополита Филиппа — не просто шпион боярской оппозиции в стане Ивана. Это принципиальный противник Грозного, один из главных героев третьей серии. С ним связано раскрытие «тайны исповеди», благодаря чему церковь узнала планы царя.

Когда Иван разоблачил Евстафия и, сдавливая его шею цепочкой креста, требовал: «Говори... Говори...», Евстафий твердо отвечал: «Все скажу...» В его ответе двойной смысл: не столько страх разоблаченного, сколько намерение прямо высказать Ивану свои мысли о нем, разоблачить несостоятельность его политики. Это была моя вторая роль в фильме — человека умного, хитрого, отважного, совестливого.

Помню, когда снималось «пещное действо», Эйзенштейн спросил: «Колесо умеешь делать?» — «Умею», — ответил я. Так сыграл третью роль — халдея. Роль небольшая, но она требовала совсем иной актерской техники, чем две первые.

Наконец, я должен был в фильме играть и польского короля Сигизмунда — четвертую роль, совершенно непохожую на

остальные.

Как видите, Эйзенштейн судил об актере не по коридорным впечатлениям и не по типажному «экстерьеру»). Он исходил из того, что в актере можно пробудить.

Поэтому не верьте, если услышите легенду о том, будто Эйзенштейн не любил и не понимал актера. Можно легко убедиться в противоположном, читая сценария «Ивана Грозного». Помню, как сценарий поразил меня не только содержанием, но и формой изложения. Было такое ощущение, что тебя ведут и направляют на верную дорогу. Такой в нем ясный прицел и волнующая атмосфера.

Перед первой пробой Сергей Михайлович пригласил меня для разговора домой. Он подробно рассказал, какое место в картине занимает Владимир Старицкий. Потом достал множество рисунков. Они поразили меня тем же, что и сценарий. В них — не просто внешний вид актера и кадра, а прежде всего действия.

До сих пор бытует мнение, что Эйзенштейн «выгибал актера под картиночку». Говорят, в съемочной группе «Ивана Грозного» была популярной острота: «У Эйзенштейна актер выворачивается, как саксаул». Да, было такое выражение. Смешно, по несправедливо. Во всяком случае, все, что происходит в эйзенштейновском кадре, глубоко логично. Это закономерный вывод из действия, подчиненного сверхзадаче фильма. Актеру надо играть не саму сцену, а следствие всего предыдущего. В этом и заключена логика поведения в предложенных обстоятельствах.

В «Грозном» нельзя было играть, опираясь только на свой бытовой опыт: просто, непринужденно, правдоподобно. Это было бы губительно для фильма — и для его стиля, и для его замысла. Ведь Иван Грозный — это сложная правда, не лежащая на поверхности, в пределах повседневного быта.

И я осмелюсь утверждать, что то «образное действо», которое Эйзенштейн избрал для выражения своих мыслей об абсолютизме, есть проявление реализма в самом высоком понимании этого термина.

Я учился у Бориса Вольфовича Зона, приверженца и праведного последователя системы Станиславского. И не вижу принципиальной разницы в его подходе к образу и подходе Эйзенштейна: с какой стороны начинать работу — принять ли предложенный рисунок роли или в процессе долгих репетиций прийти к тому же решению мизансцены.

Эйзенштейн выстраивал кадр и заставлял действовать в нем актера, всегда соблюдая логику психологического поведения персонажа.

Как я уже упоминал, в сцене разоблачения духовника Грозный, узнав в нем «меньшого Колычева», хватает его за цепь, на которой висит крест, подбирается по ней к горлу Евстафия, запрокидывает его голову и начинает душить, требуя ответа: «Уж не ты ли из этого рода поганого?! Меньшой из рода Колычевых?! Говори!.)

Мне нужно было ответить на вопросы царя в довольно сложном ракурсе, да еще со сдавленным цепью горлом. Сергей Михайлович сделал для меня великолепный рисунок этой сцены. «А может быть, как-нибудь по-другому?» — спрашиваю. И мы начали репетировать с Николаем Константиновичем Черкасовым непринужденно, «не по рисунку» и пришли по логике внутреннего самочувствия к тому же самому, к той же мизансцене.

В сцене венчания на царство есть момент, где Иван косит глаза сначала влево, потом вправо. Эйзенштейн полушутливо подавал сигнал: «Глазки влево... Глазки вправо». Посторонние люди, которые присутствовали на съемке, потом посмеивались: «Вот-де метод работы Эйзенштейна с актером: «Глазки вправо, глазки влево». Но ведь они не знали, какое место займут эти кадры в фильме, какую роль они играют, как свяжутся с другими кадрами и звуком.

А я был при разговоре Эйзенштейна с Черкасовым, когда он объяснял эту сцену и говорил о задаче. «Помните: царь сам режиссер своего венчания». И предложил такой рисунок игры, раскрывающий эту мысль: «Иван со своего возвышения в центре храма метнул взгляд вправо — и правое полухорие запело ему здравицу, метнул взгляд влево — и с левого клироса подхватили величание». Актеру осталось только выполнить эту задачу неформально, внутренне наполненно.

Формально играть в кадре Эйзенштейна нельзя. Надо прожить всю роль до и после этого момента. Тогда точно выстроенный режиссером кадр и действующий в нем актер будут живыми. И тот зритель, который умеет смотреть и слушать фильм, поймет замысел сцены, а кто не поймет — почувствует. В противном случае получится тот формальный рисунок, в котором упрекают Эйзенштейна. А виноват актер, неглубоко или формально принявший его замысел.

Замысел свой Эйзенштейн выражал в ярком задании, чаще всего метафорически. В этой метафоре была активная мысль, было действие. Действие — это не только «поднять» и «бросить»! Я присутствовал при том, как Сергей Михайлович пояснял внутренние стремления одного из персонажей: «Видели ли вы когда-нибудь степь, залитую утренним солнцем? И в степи конь — сильный, могучий, страстный! Вдруг он почувствовал, что где-

то вдали, за горизонтом, его подруга. И он вытянул шею, заржал и стремительно рванулся вперед. Как в сказке: дым из ушей и огонь из ноздрей! Вот что такое ваш герой в достижении цели».

Актер бросился к съемочной площадке: сохранить бы только этот образ в эмоциональной памяти — все получится! Когда дело дошло до съемок, Эйзенштейн подошел ко мне и сказал на ухо: «Смотри, смотри, он ничего не понял». Смотрю: актер стоит перед камерой, шумно дышит и неестественно широко раздувает ноздри... «Он ведь лошадь играет!» — смеется Эйзенштейн.

Правда, иногда актеру трудно сохранить себя долго в нужном состоянии. Если он не сумеет на время «выключиться», то к моменту съемки может прийти усталым. Эйзенштейн не только понимал это, но и умел разряжать напряжение — шуткой снимал усталость и собирал внимание.

Работать с Сергеем Михайловичем было огромным наслаждением. А ведь только радостно и можно творить! Кроме того, у нас не было тех мучительных репетиций, когда талдычат текст и слова утомляют мозг. Эйзенштейн никогда не навязывал интонаций, не учил с голоса, внимательно следил за логикой поведения актера. И когда было необходимо, вносил свои коррективы. Мне было с ним удивительно легко.

Когда Сергей Михайлович объяснял мне образ Владимира, он подчеркнул, что социальное сознание князя Старицкого находится на уровне четырнадцатилетнего подростка. И посоветовал: «Чтобы получился четырнадцатилетний, тебе надо играть... тебе надо играть трехлетнего». Мне было тогда двадцать восемь. «Ты наблюдал, как дети в саду поднимают мячик?» Действительно, дети при этом приседают так, что голова не нагибается. И Эйзенштейн показывал с большим мастерством, как это делают дети. Сразу в роли многое становится ясным.

При подготовке к одной из сцен, во время установки света в кадре, я поймал муху и поднес ее к уху. Сергей Михайлович радостно сказал: «Замечательно! Мух ловит, а царем хочет быть!»

Так Эйзенштейн, ясно поставив задачу, навел меня на точный жест, а потом подчеркнул «сверхзадачу» роли. Эту сверхзадачу он умел объяснить с огромной изобретательностью и многообразием. На репетиции свадьбы Ивана Грозного он, например, сказал: «Ты у меня будешь глухонемым. В этой сцене Владимир один только раз кричит «горько», да и то невпопад». «Глухонемой» — это образное выражение сути Владимира.

Во второй серии в сцене «пир», где Владимир в царских одеждах сидит на троне, Эйзенштейн строил композицию кадра так, чтобы моя голова вписывалась в нимб святого, изображенного на фреске. Во Владимире действительно есть что-

то от святого — беззащитного, «святая простота» глухонемого. Тут режиссер композицией кадра помогал мне, актеру, передать смысл роли, характера.

Сергей Михайлович никогда не делал винегрета из вещей и деталей в кадре. Минимум вещей, максимум выразительности — таким был его девиз. Поэтому кадр его чист и в то же время насыщен, он дает простор актерскому действию. В нем не теряется ни одно движение, ни один, даже мельчайший, жест, поворот, взгляд.

Кроме того, каждый кадр его эмоционально достоверен и выразителен по смыслу. Это помогает внутреннему состоянию актера. Нужно лишь стараться быть созвучным тому, что делает в кадре оператор Москвин, например, или художник Шпинель (тоже работающие в полном согласии с режиссером, с его видением фильма).

Эйзенштейн помогает композицией кадра актеру, по ведь актер должен помочь Эйзенштейну: быть «полпредом» его идей. Нужно дотянуться до его замысла. Вот это действительно трудно — шагать в ногу с художником, который на сто голов выше тебя! А необходимость попасть в композицию, соразмерить себя с другими компонентами кадра — это ведь элементарный профессионализм, которым должен владеть актер.

На вопросы критиков и киноведов, входил ли музыкальный образ или ритм в задачу, поставленную Эйзенштейном, или синтез достигался Эйзенштейном и Прокофьевым уже в период монтажа и озвучания, я бы ответил так: актер у Эйзенштейна — тоже соавтор этого синтеза.

Некоторые сцены снимались под готовую фонограмму, например, «пир». Тут от актеров требовалась абсолютная музыкальность. В других сценах было известно, какие музыкальные темы будут звучать, и действие строилось с учетом музыкального образа. В этом случае Сергей Михайлович обращался к воображению актеров и очень на него рассчитывал.

Случались и курьезы. В финале второй серии, когда Ефросинья вбегает в собор, вместе с музыкой должен был звучать большой церковный колокол. Актриса Серафима Бирман попросила, чтобы под фразу «Ивану — конец», здесь, на съемке, действительно звучал колокол (это ей, игравшей Ефросинью, было необходимо для создания определенного настроения).

Эйзенштейн ответил: «Это можно себе представить».

Но Серафима Германовна заявила, что, если не будет звучать колокол, она играть не сможет. Тогда Сергей Михайлович попросил реквизитора повесить колокол.

Конечно, в реквизите не было точного звучания большого

колокола. Повесили то, что имелось в наличии. И вдруг вместо погребального звона, раздалось жиденькое блям-блям-блям... В павильоне раздался смех. Серафима Германовна расстроилась. Колокол пришлось убрать, но она и без него отлично сыграла цепу.

Проход Старицкого по собору снимался не под музыку. Но перед съемками Эйзенштейн познакомил меня с Прокофьевым, который на рояле сыграл нам эту тему. Во время репетиций он неоднократно подходил ко мне и напевал на ухо мелодию «Перед богом клянусь... клятвой страшною» и говорил: «Не забудь». Во время прохода я как бы нёс в себе мелодию и ритм этой музыки — клятвы опричников. Поэтому так абсолютно музыка слилась с движением.

Почти всякое движение, предложенное или заданное Эйзенштейном, было целесообразным, по часто трудно выполнимым. Положение тела в кадре могло быть самым замысловатым. Но, как ни парадоксально, какой-нибудь сложный «выверт» способен был облегчить выполнение задачи.

В сцене исповеди (третья серия) я в роли Евстафия должен был выходить из низкой двери, разгибаться и петь при этом: «Господи, царю даруй зрети мои прегрешения...» Все это — на самом крупном плане. А крупный план в движении очень труден технически. После репетиции, когда рисунок роли в этой сцене стал ясным, Эйзенштейн сказал: «Теперь займемся техникой. Тебе надо на крупном плане перейти из правого нижнего угла в левый верхний. Я думаю, тебе не мешает, если ты расставишь ноги, согнешь одну в колене и, постепенно выпрямляясь, перенесешь центр тяжести с одной ноги на другую».

Это оказалось удобным. Я так и сделал. На репетиции присутствовала С. Г. Бирман. Ей показалось это каким-то кощунством: «Как можно оправдать такое нелепое Движение ног?»

Но ведь это и не нужно оправдывать! Я же не думаю в это время о согнутых ногах — забочусь о внутреннем состоянии. А техническая подсказка режиссера помогает мне выразить «вовне» это состояние без ущерба для кадра.

Кроме того, работа актера в кино отличается от работы в театре. На сцене, где видна фигура, в самом деле нужно было бы обосновать, почему Евстафий стоит в таком положении. В данном случае снимался крупный план лица. Зрителю мои ноги не видны. Лишь бы мое лицо сыграло то, что нужно. Кстати, Эйзенштейн терпеть не мог слова «оправдывать». Он говорил: «Надо не оправдывать, а обосновывать».

Любопытные и любознательные иногда задают с иронией

вопрос: «Удобно ли это актеру?» Если он не обладает необходимой техникой, не владеет своим телом, ему в любом положении будет неудобно.

На вопрос, не сковывал ли творческую инициативу точный рисунок роли, предложенный Эйзенштейном, я бы ответил так: «Нет, не сковывал, вопреки всем легендам».

Бывают режиссеры (их не так уж много), которые приходят на съемочную площадку, еще не зная, чего они хотят от артиста. И предлагают просто прочесть сцену, ожидая, очевидно, что актер сам что-то предложит, и с готовностью цепляются за его предложения. Некоторые актеры очень любят такой метод работы.

Эйзенштейн работал по-другому. Задолго до встречи с артистом он так проживал каждую роль своего сценария, проигрывал ее в своем сознании, что предлагал актеру уже готовое, выношенное. Вот тут и нужно было понять его. И тогда, сам того не замечая, приходишь к результату, которого ждет от тебя режиссер, ощущаешь радость творчества и полную свободу.

Некоторые актеры больше любят свои «придумки», не очень считаясь с тем, соответствуют ли они замыслу в целом. С такими актерами Эйзенштейну трудно было работать, а им, в свою очередь, было трудно работать с Эйзенштейном. Наверное, отсюда и родилась легенда о том, что Эйзенштейн «давит» на актера. Что касается меня, то я не чувствовал никакого насилия — мне было всегда легко. Я принимал замысел Сергея Михайловича, и внутри общего рисунка роли он давал полную свободу для импровизаций и предложений. Лишь бы они шли в том же направлении, что и его замысел. Я приводил уже пример с мухой.

Вот и другой. В эпизоде «пира», сидя на троне, я икнул. Эйзенштейн тут же весело крикнул: «Натурализм! Но это правильно», — и оставил мой дубль в фильме.

Ансамбль в «Грозном» потому и получился (хотя актеры были очень разные по воспитанию и по опыту), что фильм был заранее точно продуман, заранее было определено место каждого действующего лица. Половинчатости, непринципиальности, компромиссов Эйзенштейн не признавал. Даже в мелочах.

Когда снималась сцена убийства Владимира, пропал вдруг крест, который он носил на груди. На общих планах, тайно от Сергея Михайловича, решили надеть на меня другой крест, такой же, но с другими камнями — авось не заметит. Опасаясь гнева Эйзенштейна, я незаметно прикрывал крест широким рукавом царского облачения. Посмотрев в глазок камеры, Сергей Михайлович закричал:

— Принц, как у вас по кадру будет левая рука?

— Вот так, — отвечая, я отвожу левую руку и тут же прикрываю крест правой.

— А правая?

Проделываю обратную манипуляцию.

— А как у вас будут действовать обе руки вместе?

Конечно, он все заметил. Крест в этот день так и не нашли. Эйзенштейн отменил съемку и сказал мне:

«Нельзя снимать. Если раз пойдешь на компромисс, потом не выберешься. Это только кажется, что ты на дальнем плане. В кино все на крупном. И никогда не говори: «Снимем как-нибудь».

Он часто улыбался, шутил — был жизнерадостен в творчестве.

Что такое жизнерадостность? Вопрос я себе задал непростой. Мне думается, Сергей Михайлович улыбался понятности и ясности окружающего мира. По-видимому, это свойство гениев.

Работа с Эйзенштейном оказалась для меня не только школой актерского и режиссерского мастерства, но и навсегда осталась в сердце творческой радостью.

У Михаила Светлова в пьесе «Двадцать лет спустя» комсомолец-поэт по прозвищу Налево говорит такие слова:

Чтоб в книге исторических событий
Хоть знаком препинания мелькнуть!

Мне думается, что артист-гражданин Николай Константинович Черкасов своим подвигом в искусстве, а стало быть, и в книге исторических событий, не просто мелькнул каким-то неопределенным знаком препинания, а поставил в этой книге очень красивый, яркий восклицательный знак! Если бы я умел, если б я обладал счастливым даром поэта, я непременно написал бы поэму о том, как простой человек, шагая по дорогам планеты Земля, везде оставлял после себя красивые светящиеся восклицательные знаки. К чему бы он ни прикоснулся, там уже знак восклицательный. Я имею в виду не только ого творчество в кино, театре или на эстраде, а и общественную деятельность, и общение с окружающими его людьми, средой.

Я сказал: простой человек. Мы с вами давно привыкли к этому слову, как к слову, определяющему человеческие достоинства. Простой — значит доступный к общению, не заносчивый, не самовлюбленный, не кичливый, человек, который не подстраивается к собеседнику, у которого нет стремления казаться кем-то или тем-то. Человек, который не считает собеседника глупее себя. Словом, это человек, который всегда остается самим собой.

Именно таким в памяти товарищей и остался Николай Константинович Черкасов, или как многие его называли просто — Коля Черкасов. И это не случайно. Это происходило, видимо, от того, что человеческое тепло, исходившее от него, располагало людей к нему, настраивало на дружескую волну. Замечу при этом, что в таком общении с ним не было и тени панибратства, манеры, похлопывания по плечу.

Николай Черкасов принадлежал к той категории людей, что не скрывали от товарищей секретов своего мастерства. Видимо, поэтому он и был великолепнейшим партнером. Я был горячим поклонником Черкасова, когда еще в старом ТЮЗе (в брянцевском ТЮЗе) он играл Дон Кихота, Звездинцева в «Плодах просвещения» Л. Толстого, а затем, через много лет, судьбе и Сергею Эйзенштейну было угодно сделать меня его партнером в картине

«Иван Грозный». Вспоминаю сегодня об этом как о счастливейших днях моей творческой жизни!

В то время Николай Константинович Черкасов был уже признанным мастером сцены и экрана, его имя было знакомо и в нашей стране и за ее пределами. Однако мы, молодые артисты, общаясь с ним на съемочной площадке и в жизни, не испытывали страха, не ощущали дрожи в коленях при виде гиганта сцены.

— Здорово, принц! — приветствовал он еще издали появившегося партнера. (Я играл двоюродного брата царя, наследника престола.)

— Привет, царь! — отвечал я весело.

— Тут Сэрмих нарисовал картинки нашего движения в кадре, давай-ка посмотрим...

— А может быть, — возражал я, — репетируя, ища логику движения и поведения, у нас с вами родится какая-нибудь другая картина, другая мизансцена?

«Царь» хохотал бархатным басом...

— Вряд ли, принц. Сэрмих до такой точности прослеживает или сам проигрывает движение мыслей, что чем глубже мы с тобой влезем в духовный мир этих людей, чем точнее будем действовать, тем точнее выполним именно эту мизансцену в условиях кадра. Давай, брат, репетнем.

И мы до прихода Эйзенштейна в павильон репетировали с Черкасовым на равных, будто были однокурсниками. Он не давил своим величием на партнера, с ним всегда было легко и свободно.

Там, где появлялся Черкасов, всегда было весело и очень интересно. Наверно, не ошибусь, если скажу, что его товарищи часто превращались во внимательных или бурно реагирующих слушателей, в зрителей или партнеров. В минуты коротких перерывов между съемками, в скупые часы досуга, рассказывая какой-нибудь случай из жизни или анекдот, Николай Константинович тут же избирал себе партнера или партнеров, и обыкновенный анекдот, какая-нибудь старая байка мгновенно превращалась в миниатюру, сценку и даже в спектакль.

— Здравствуй, Пауль!!! — неожиданно при встрече кричал он голосом циркового рыжего времен нэпа...

— Страствуй, Николай!!! — обязательно должен был ответить я.

И Николай Константинович, очень смешно коверкая слова, как это делали в старину рыжие, начинал импровизировать:

— Пауль, ти опять пудемь ходить со свечка?

— Та-та!!! — громко вопил я...

Все это Черкасов проделывал так мастерски, так похоже, что дружный веселый хохот оглашал холодный павильон. Смеялись

актеры, светотехники, реквизиторы, костюмеры — все, кто в это время был на съемочной площадке, и всем становилось теплее, уютнее и вновь хотелось работать. Не знаю, сознательно или нет Николай Константинович создавал эту атмосферу легкости, непринужденности. Может, это было просто свойством его характера, но я глубоко убежден в одном — это было крайне необходимо в те тяжелые для всех нас дни войны. Люди были полуголодные, до предела переутомленные, ведь снимали мы картины преимущественно по ночам, днем электроэнергия нужна была предприятиям. И когда случалось так, что Черкасов был не занят и ого не было на съемке, нередко мне приходилось слышать: «Хоть бы царюга скорей приходил!» И он приходил. Этот удивительный человек буквально носил в себе, в своем большом сердце дух коллективизма.

«Разные люди бывают на свете...» — говорит сказочник в пьесе Евгения Шварца «Снежная королева». И действительно, разные. Бывают такие, для которых зима — это значит только холодно, весна — это значит распутица и немножечко тепла, а осень — грязно, холодно и дождливо.

Николай Константинович никогда не толкал день в спину, во всяком случае, я от него никогда не слышал: «Ох, скорей бы прошел этот день, будь он неладен». Черкасов в каждом дне, дарованном нам природой, находил что-то прекрасное, к какому бы времени года ни относился этот день. Обстоятельства его бурной кипучей деятельности не давали ему возможности часто выбираться на природу. Ну, скажем, на охоту или рыбалку. Зато с каким восторгом, упоением, почти с детской радостью рассказывал он о пойманном, может быть, единственный раз в жизни лососе!

Как-то мы встретились в аэропорту. Еще издали увидев меня, Николай Константинович приветствовал:

— Здравствуй, принц! Я лососечка поймал... Здоровый такой, дождь льет, понимаешь, как из ведра, а я лососечка тащу... Ну будь здоров! Я в Москву лечу, а ты куда?

— В Красноярск.

— Счастливого полета!. — радуясь как ребенок, он еще раз показал мне длину лосося. На этот раз рыба уже несколько увеличилась в своих размерах.

Концертные поездки, экспедиции, командировки сталкивали нас случайно на вокзалах, в аэропортах, на собраниях или на премьере гастролировавшего в Ленинграде театра, когда Черкасов обязательно приветствовал гостей как председатель городского отделения ВТО. Словом, его кипучая деятельность поражала и удивляла. Часто разговаривая о Черкасове, товарищи

недоуменно пожимали плечами и спрашивали: «Где он находит время?» На этот вопрос я всегда отвечал: «Он просто его не теряет!» Про него говорили: «Он счастливый!» Может быть...

В Индии в Старом Дели есть металлический столб, вокруг которого всегда толпятся туристы. Столб блестит. Его не полировали, не хромировали, он блестит потому, что к нему постоянно прикасаются люди в надежде на счастье... Есть такое поверье, о котором как-то рассказал мне в Индии один йог. Если какой-нибудь человек, прижавшись плотно спиной к столбу, обнимет его и сможет соединить обе руки за ним, значит, этот человек отмечен счастьем.

— Скажите, а кому-нибудь удалось проделать это сложное упражнение? — спросил я.

Вот грустно улыбнулся и ответил: «На моей памяти... а живу я очень давно на земле... обнять столб, встав к нему спиной, удалось только одному человеку, он был из России... Артист очень высокого роста!»

Черкасов очень любил свою Родину. Это не отвлеченное понятие, оно совершенно конкретно.

Я вспоминаю, как однажды возвращался домой после довольно продолжительного пребывания в Индии. В салон самолета вошел командир корабля и по существующей традиции объявил: «Товарищи, граница пересечена, поздравляю вас! Вы на родной земле...» Невольно сердце забилося быстрее, и, естественно, каждый из пассажиров по-своему отреагировал на это сообщение... Марецкая, например, тихо запела: «Широка страна моя родная...» Кто-то шмыгнул носом, кто-то поднес к глазам платок.

Ко мне подошел командир.

— Разрешите? — он указал на свободное кресло рядом.

— Пожалуйста, — ответил я.

— Благодарю, — он сел и, глубоко затянувшись папироской, сказал: — Тут год тому назад летел из Индии Николай Константинович Черкасов. Ну, я как обычно вошел в салон и так же, как сегодня, поздравил товарищей с пересечением границы. С пассажирами произошло то же самое, что и с сегодняшними... Только Черкасов, помню, как-то странно припал лбом к холодному стеклу, и у него стали вздрагивать плечи... Я подошел к нему и с искренним беспокойством спросил: «Николай Константинович, что с вами?» Он на секунду оторвался от окна и, показывая вниз, произнес только одно слово: «Березки...»

Завершаются последние приготовления к съемке сцены в землянке кинокартины «Повесть о настоящем человеке». Лежу на топчане, рассматриваю бревенчатые стены...

«Как хорошо сделана декорация, как достоверно», — думаю. Прикрываю глаза, пытаюсь представить себе, как все это было на самом деле.

Где-то за дверью слышу сдержанный разговор:

— Я хочу с ним познакомиться, поговорить.

Приоткрываю глаза и в неярком, колеблющемся свете горящей лучины вижу улыбающееся лицо Любови Петровны Орловой. Тогда я впервые увидел так близко знаменитую, любимую всеми актрису.

Очень легкой, неслышной походкой она подходит к топчану и присаживается на краешек.

— Здравствуйте, — говорит тепло, улыбаясь.

— Здравствуйте, Любовь Петровна, — отвечаю тихо, совсем пропавшим от волнения голосом.

Вот с этого самого вечера, с этой необычной встречи я и запомнил на всю жизнь ее звезды-глаза, излучающие доброту. Лучи этих звезд способны были проникнуть человеку в самое сердце, в самую душу.

Когда про артиста говорят, что он хорошо играет, это естественно. Он и должен хорошо играть: это его профессия, этому он учился многие годы. А вот сеять в людях доброе начало, вызывать у окружающих чувство душевной радости — это уже нечто большее, это выше, чем просто профессионализм. Это своего рода дар.

Позднее довелось мне сниматься с Любовью Петровной Орловой в кинокартине «Русский сувенир». Играя роль американского журналиста Гомера Джонса, влюбленного в Барбару (Орлова), я понял, что человеческая доброта — это и есть огромный талант Любови Петровны.

«Сейте разумное, доброе, вечное!» Сеятель доброты. Если бы существовала на свете такая профессия, то можно было бы с уверенностью сказать, что Любовь Орлова овладела ею в совершенстве.

Пожалуй, не назвать такого человека, который не улыбнулся бы, вспоминая Любовь Орлову, который не сказал бы о ней ласкового слова. А ведь улыбка, доброта в наш бурный, кипучий век — это несколько драгоценных минут, секунд продления человеческой жизни.

Само имя актрисы — Любовь — как бы сплетается с ее человеческой сущностью. Оно вмещает в себя любовь к окружающему ее огромному миру, любовь к людям, к природе, к красоте!

Любовь Петровна обладала способностью находить красоту там, где ее не всякий человек заметит. Она могла долгое время любоваться колючим татарником или могучим стеблем крапивы, способной выбиться из земли в самом неожиданном месте.

Ее неподдельное, восторженное отношение к природе, искреннее преклонение пород ее величием и красотой давало актрисе ту волшебную силу, которая помогает более острому восприятию окружающей жизни, более чуткому отношению к людям.

А быть внимательным к жизни, которая отпущена нам малой крупницей в бесконечном времени, — не это ли и есть то драгоценное зерно, которое должно жить в сердце художника и человека.

Излучающая радость

Людмила Касаткина принадлежит к числу тех горячо любимых мною актеров, о которых я могу говорить только в превосходной степени. Если бы: я писал о ней книгу, то первая глава была бы о Касаткиной-человеке, преисполненной искрящейся энергии и бесконечного жизнелюбия, величайшей доброты и искренней отзывчивости.

Я не раз был свидетелем того, как люди, ранее не знакомые с Касаткиной, через несколько часов общения с нею чувствовали себя так, будто знают ее уже долгие годы, — настолько она внимательна к собеседнику и проста в обращении.

Думаю, не только я всегда оцениваю людей по тому, как они относятся к детям: в этом проявляются их человеческая доброжелательность и, я бы сказал, здоровье души. У Людмилы Ивановны при виде детей теплеют глаза, она находит для них новое слово, нужный жест, и детвора платит ей такой же горячей симпатией. А уж что касается ее любви к собственному сыну, то не надо быть особо наблюдательным человеком, чтобы заметить, сколько нежности и заботы в их отношениях, сколько души она отдает своей семье. Она — настоящая мать. Наверное, поэтому Людмила Касаткина и сыграла столько матерей. Одна из картин, в которой она исполнила главную роль, так и называется «Мать Мария».

А не так давно мне посчастливилось посмотреть спектакль ЦАТСА «Без вины виноватые» Островского с участием Касаткиной. Для меня это был спектакль-потрясение. В какой-то момент я почувствовал вдруг, что по моему лицу катятся слезы. Взглянул украдкой по сторонам и увидел, что и соседи мои достают платки. А когда спектакль закончился, зал буквально взорвался бурными аплодисментами.

Что же так подействовало на современную публику, которую трудно упрекнуть в сентиментальности? Все дело, видно, в том, что в отличие от всех актрис, которых я ранее видел в роли Кручининой, Касаткина играла не знаменитую артистку, а мать, потерявшую сына. Мать, убитую горем. Уже в зрелом возрасте я понял, что играть Кручинину надо именно так. И, разумеется, свою роль сыграли красота, редкое обаяние актрисы. Смотрю на сцену и вновь вспоминаю слова, сказанные моим дедом и глубоко запавшие мне в душу: «Человек — это природа. Он так же красив, как природа, и им так же надобно любоваться. Человек, не способный умиляться перед природой и в восторге уронить слезу, любуясь красотой ея, есть полчеловека». Как это верно сказано!

Смотрю на Кручинину — Касаткину и откровенно люблюсь ею, ее человеческим и актерским талантом.

Кончился спектакль, поднимаюсь на сцену с цветами. Зал, увидев нас вместе, партнеров по фильмам, снятым десятки лет назад, долго стоя приветствует нас. Такие минуты не забываются.

С Людмилой Касаткиной мне довелось сниматься в трех картинах. Не все эти фильмы стали значительным явлением в кинематографе, но для меня все они дороги какой-то своей чистотой, внутренним светом и теми новыми красками, которые вносило и в мою игру партнерство Людмилы Ивановны. Ведь, работая вместе, мы учились друг у друга.

Первый фильм, на котором мы встретились с Касаткиной, — «Укротительница тигров». Уже на пробах меня поразили удивительная человеческая непосредственность исполнительницы, умение реагировать на любую импровизацию — качество, которое я бесконечно ценю в актере.

И второе свойство, которому я не переставал удивляться во время съемок, — ее смелость. Людмила Касаткина могла, вызывая ужас у всей съемочной группы, спокойно протянуть руку в клетку тигра, покормить его и потрепать по холке. Делала она это с легкостью, совершенно безбоязненно. И звери, наверное, чувствовали, своим чутьем понимали, что перед ними не враг, не существо, которое их боится, а их, если так можно выразиться, партнер. Не случайно же, когда закончились съемки, Борис Эдер, большой мастер дрессуры, сказал то ли в шутку, то ли всерьез: «Людмила Ивановна, вы можете работать в цирке: у вас есть кураж».

А в «Укротительнице тигров» как раз и было много эпизодов., где требовалось проявить не только мастерство, но и этот самый кураж, самую настоящую смелость.

В одном из эпизодов я ехал по треку на мотоцикле, а за моей спиной должна была стоять партнерша, держа развевающееся знамя. Касаткина заявила, что она обойдется без дублера и будет все выполнять сама. Заиграла музыка, я еду по треку и удивляюсь, как хорошо, не шелохнувшись, стоит моя партнерша! И вдруг, сделав круг, обнаруживаю, что Людмила Ивановна сидит на полу, потирая ушибленную коленку. Режиссер снова убеждает воспользоваться дублершей. Но Касаткина просит сделать второй дубль. Снова встает на мотоцикл — и мы прекрасно снимаем эту сцену! Но вот заканчиваются, помню, съемки «Укротительницы тигров», режиссер-постановщик Надежда Кошеверова собирает нас в актерской комнате. Надежда Николаевна просит меня сказать что-нибудь о своей партнерше. И я говорю:

— Пройдет какое-то время, картина смонтируется, будет

принята различными инстанциями, и в один прекрасный день вы проснетесь и будете очень знаменитой артисткой!

Людмила Ивановна смеется своим очаровательным искренним смехом и отвечает:

— Ну что вы? Что вы такое говорите?

А ведь то, что я говорил тогда, все в точности сбылось. Как только картина вышла на экран, у всех на устах только и было: «Касаткина! Касаткина!..» Появилась новая звезда.

Звезда Людмилы Ивановны Касаткиной светит до сих пор. И не только потому, что она такая удачливая. А потому, что всю жизнь — постоянная работа. Потому что она никогда не успокаивалась и не успокаивается, купаясь в лучах славы, а всегда была — и продолжает быть! — в постоянном поиске нового, созвучного нашему времени и зовущего в счастливую даль.

Глаза героя

На съемках фильма «Повесть о настоящем человеке» я впервые увидел выразительные темные глаза перебинтованного бойца и сразу же узнал его: «Это же Гриша Гвоздев!.. Тот самый бесстрашный танкист, как его звали в батальоне, человек «без меры», о котором рассказывали и писали газеты, казалось, невероятные истории. Это он на своем Т-34, чтобы разведать силы противника, на полном газу проскочил ночью через занятый гитлеровцами город, переполошив и смертельно напугав сонных оккупантов. Тот Гриша Гвоздев, что в немецком тылу неожиданно выскочил из засады и отчаянно давил своим танком обезумевших фашистов. Да, это тот самый Гриша Гвоздев, что, выбивая гитлеровцев из деревни под Ржевом, в горящем танке продолжал громить из всего бортового оружия и давить гусеницами убегающих фашистов!..»

Его, Героя Советского Союза, лейтенанта Григория Гвоздева, старательные медицинские сестры так забинтовали, как пеленают новорожденного. Понимаю, это было необходимо сделать, так как в пылающем танке у него обгорели руки, ноги, туловище, лицо. И все же закрадывается сомнение: «Сможет ли играющий его артист донести до зрителя обуревающие танкиста чувства, мысли этого изуродованного войной человека только не-забинтованными глазами?»

Наши койки в сорок второй палате госпиталя в Москве стояли рядом, и мне было как-то жутковато смотреть на этого столько пережившего и такую боль преодолевающего танкиста. Но однажды, когда наш общий любимец в палате комиссар Воробьев — артист Николай Охлопков — завел с молчаливым танкистом речь о том, как дивизия, где он был комиссаром, воевала на Духовщине, где и Гвоздев со своими товарищами выходил из окружения, я заметил, как вдруг ожил танкист и посмотрел на меня. Но как посмотрел! В его взгляде я увидел все: и скорбь о матери, отце и трех сестренках-подростках, повешенных гитлеровцами на березе у дома под Дорогобужем, и спаленный фашистами его родной дом, и милую, голубоглазую фельдшерицу Женю, над которой надругались и которую убили потом изверги, и поруганную ими родимую землю, и жажду, справедливой мести за гибель товарищей, за все муки Отечества!..

— Как вас зовут? — невольно спрашиваю его.

— Григорий, — отвечает через марлевую повязку.

— А фамилия?

— Гвоздев.

— Да нет же, — улыбаюсь. — Как в жизни вас зовут?

— Сергей.

— А по отчеству?

— До отчества еще далеко... Федорович. Но вы, Павел Петрович, зовите меня просто Сергеем. Студент я еще — Сергей Бондарчук.

Так я познакомился впервые в жизни с Сергеем Бондарчуком.

Не стану пересказывать сюжета фильма. Вы и сейчас видите Гришу Гвоздева на экране и, убежден, так же, как и я, удивляетесь и радуетесь тому, сколько же много могут сказать нам глаза героя. Только одни глаза! В них мой Алексей Мересьев черпал и волю, и жажду жизни, и страстное желание как можно быстрее вернуться в боевой строй и гнать врага с родной земли.

Игра Сергея Бондарчука в «Повести о настоящем человеке» напомнила мне образ Солдата, которого я играл в «Человеке с ружьем». Как там, так и здесь надо было максимально выразительными средствами создать эпизодические, — мы, исполнители, даже не значились в титрах фильмов! — по очень существенные образы. Мне было легче: ни руки, ни ноги, ни лицо у меня не были перебинтованы. А вот Сергей Бондарчук сумел донести Этот образ до зрителей только глазами.

— Сергей Федорович, — с глубоким уважением обращаюсь к нему по имени-отчеству в конце съемок фильма «Повесть о настоящем человеке». — Вы в пророчество верите?

— А что?

— Поверьте мне: из вас получится замечательный артист и прекрасный режиссер!

— Да что вы, Павел Петрович! — засмутился Сергей. — Мне бы артистом хорошим стать. А режиссура — она только для избранных судьбой. Где уж мне быть режиссером?

— Будете! И артистом, и режиссером будете — поверьте мне!..

И как же я радовался каждой талантливой работе этого артиста! Как радуюсь каждой его режиссерской удаче! Мне по душе высота духа героев фильмов «Тарас Шевченко», «Адмирал Ушаков», «Иван Франко», «Отелло», «Судьба человека», «Война и мир», «Борис Годунов» и многих других.

В нашем киноискусстве и в жизни я считаю Сергея Федоровича Бондарчука одним из моих братьев по духу и от всего сердца желаю ему здоровья и новых высот в творчестве.

Мне очень хотелось сыграть Незнамова в фильме «Без вины виноватые» по пьесе Островского. Но так случилось, что предложение на эту роль совпало с моей работой над образом Робинзона Крузо в — одноименной киноленте. Я уехал на съемки в Грузию, а в душе нет покоя: «Как он там, Гришенька Незнамов? Кто его будет играть? Раскроет ли он этот образ так, как мне хотелось его показать зрителям?»

И вот премьера картины «Без вины виноватые», и я совершенно забываю, что смотрю фильм. Каким же талантом надо обладать артисту, чтобы так убедить меня, зрителя, что вижу я не кинокадры, а настоящую жизнь! Исполнителю главной роли удалось это — вполне хватило и таланта, и красоты, и мастерства. Я искренне порадовался тому, что Незнамов ничуть не пострадал от того, что его играл не я, а другой человек. От души был счастлив открытию, что на земле нашей родился самобытный, яркий талант — Владимир Дружников!

Фильмы «Константин Заслонов», «Сказание о земле сибирской» с его участием в главных ролях не оставляли ни малейших сомнений в том, что артиста этого ожидает счастливая творческая судьба. Но... этого не произошло.

Почему? По чьей вине такой талантище, такой редкой красоты человек вдруг оказался потом вне поля зрения нашего кинематографа?

Мне могут ответить вопросом на вопрос: «Но разве только одного Владимира Дружникова десятилетиями не замечают наши кинорежиссеры, обрекая на творческую и физическую гибель?»

Верно, не его одного. Такая же или близкая этой судьба — полная лишений и драматизма! — постигла Сергея Столярова, Ивана Переверзева, Сергея Гурзо, Николая Рыбникова, Изольду Извицкую, Валентину Серову, Александру Завьялову, Людмилу Гурченко и многих других талантливых актеров.

Кто вразумительно хотя бы попытается объяснить причину такого вопиющего пренебрежения режиссеров к талантам и красоте своей земли? И не пришла ли пора по всей строгости ответить за вынужденные творческие простои таких мастеров искусства, за искалеченные равнодушием и безвременно оборвавшиеся жизни наших талантов?!

Хочется верить, что Владимир Васильевич Дружников, как и многие незаслуженно забытые наши истинно народные артисты, еще порадует зрителей своим высоким искусством.

Вера в человека

Читаю в кинословаре скупые строки: «Барнет Борис Васильевич... советский режиссер. Заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств УССР... Член КПСС с 1943 г. Окончил Главную военную школу физического образования трудящихся. Был боксером. Учился в Г(осударственном) т(ехникуме) кинематографии) (мастерская Л. В. Кулешова)...» Читаю эти лаконичные строки, и образ этого редкого характера человека встает передо мной.

Красивый, атлетического сложения человек протягивает вам руку. Улыбается широкой улыбкой и, чуть грассируя, говорит:

— Барнет.

При этом так крепко сжимает вашу ладонь, если здороваются с мужчиной, что вы мысленно произносите:

«Ого! Вот это сила!»

Как одевался Борис Васильевич? Очень просто. По крикливо, в чуть заметном спортивном стиле. Даже немножко небрежно. Это придавало его мужественной фигуре какой-то особый шарм.

Нет, Борис Барнет, видимо, и в молодые годы не принадлежал к той категории людей, которые носит брюки с фантастическим количеством сверкающих заклепок, куртки невымытого цвета и фасона, с множеством карманов, карманчиков и гигантские черные очки, за которыми от вас что-то тщательно скрывается.

Как сейчас, вижу его серые глаза. Они смотрят открыто, с доброжелательной искренностью, не убегают от собеседника в сторону.

Мы долгое время общались с Барнетом. И я ни разу не видел, чтобы Борис Васильевич кого-то брал под «локоток» и о чем-то шептал на ухо в присутствии товарищей. Не потому ли общение с ним всегда и везде доставляло истинное удовольствие буквально всем?!

Не преувеличиваю ли? Нет. Высказывая эти личные впечатления, несу полную ответственность перед его близкими друзьями и просто товарищами в жизни, работе.

Как же мы, артисты, любили слушать Барнета! Может быть, и потому, что свою мысль он всегда выражал простыми, не усложненными словами. Никогда не засорял свою речь ненужными «довесочками». Скажем, удлинненными гласными или согласными перед каждым словом: э-э-э, м-м-м...

Даже его раскатистый звук «р» не только не мешал, а скорее украшал его речь. Кстати, этот звук сыграл в моей творческой

биографии немаловажную роль. Расскажу об этом позже.

А как любил Борис Васильевич юмор и людей, одаренных привлекательным свойством — умением шутить!

Сколько раз доводилось мне слышать его громкий, открытый, заразительный смех тогда, когда иной человек лишь недоуменно вскидывал брови, не понимая глубоко скрытый смысл острого слова.

Безусловно, одним из главных достоинств характера Барнета была его глубокая вера в человека. Вера в непогрешимость человеческой сути. Сочетание в нем физического здоровья, благородства и духовного богатства обладало удивительной притягательной силой. И все мы, попавшие в этот магнетический круг его обаяния, независимо от себя становились лучше, чище, проще, искреннее.

Борис Васильевич страстно любил природу. Без общения с солнцем, лесом, речкой он не представлял своей жизни. Однажды Борис Васильевич решил поехать на Истринское водохранилище. Складывает в рюкзак рыболовные снасти, спиннинг. Собирается уже выйти из квартиры, как раздается звонок. Барнет открывает дверь.

— Вам домработница нужна аль нет? — робко спрашивает с порога молодая женщина.

— Нужна, нужна. Заходи! Как зовут?

— Дуся.

— Ну, вот что, Дуся, — говорит Борис Васильевич, — входи быстро. Покажу тебе свое хозяйство. Вот это — прихожая. Вот — ванна. Тут — кухня. Все это — твое царство. А вот в этой комнате будешь жить. Ясно? Вот тебе ключи от квартиры. Распоряжайся, а я побежал. Мне некогда. Товарищи ждут. Будь здорова!

Оторопевшая Дуся не успела сказать и полслова, как хозяин квартиры уже захлопнул за собой дверь.

Возвращается он домой только через три дня, с большим уловом.

— Когда я позвонил, — рассказывал Борис Васильевич, — дверь открылась сразу же, без промедления. Передо мной стояла зареванная Дуська.

— Какой ты к лешему хозяин?! — кричала, возмущаясь, она. — Убежал, ничего не сказал. Да рази так можно? Я трое суток только одну воду пила с-под крану...

— А ты б порылась на кухне, — говорю. — Да за окном вон какие продукты лежат.

— Да как же я в чужой-то квартире без спросу рыться буду? Голова вон инеем тронулась, а говоришь, кабыть не рядом все! Да кто ж так делает? Да, може, я — плохая! Откодь тебе знать,

хозяин? Да, може, я у тебя все украду!

— У меня красть нечего. Да если б и было что, так вот ты как раз и не украдешь! По тебе видно, — громко расхохотался я.

— Гли-ко, он еще и хохочет! — возмущенно всплеснула руками Дуся.

— Ну, ладно... вытирай пос. Давай рыбу чистить, будем питаться.

Этот случай из его жизни я узнал, когда мы работали над картиной «Подвиг разведчика». Встречались тогда мы часто. Почти ежедневно. И очень подружились. Съемки были нелегкими. Работа шла напряженно. Но когда выпадали часы отдыха, проводили их вместе. Именно в эти часы Барнет раскрывался с самой неожиданной стороны.

Помню, в выходной день отправляемся вместе на заливные луга под Кневом. Весна уже завладела миром. Но проклятые комары буквально жрут наши обнаженные шеи, руки, нахально лезут в нос, глаза.

Борис Васильевич то и дело с львиным рычанием шлепает себя мощной ладонью по физиономии. Скребет вспухшие руки, на секунду зажав спиннинг между колен. Затем снова и снова швыряет блесну в разные стороны.

— Хорошо ему! — кивает он на сидящего на берегу человека в накомарнике с удочкой.

— Конечно, хорошо, — соглашаюсь, отчаянно шлепая себя по шее.

— А ты знаешь, как должен ходить офицер?

— Какой офицер?

— Генрих Эккерт, которого ты играешь.

— Как?

Борис Васильевич тут же пытается изобразить походку Эккерта. Лодка качнулась, и Барнет, потеряв равновесие, едва не шлепается за борт.

— Ну, ладно, не здесь. Выйдем на берег — покажу. Офицеры фашистской муштровки ходят след в след. Понял?

— Понял, Ньютон.

— Почему Ньютон?

— Когда Ньютона спросили, как им был открыт закон всемирного тяготения, он ответил: «Представьте себе, я всю жизнь только об этом и думал».

Борис Васильевич, со свистом махнув спиннингом, смеется и добродушно говорит:

— Подхалим.

— Диду, а диду! — кричит с берега человек в накомарнике.

Не понимаю, к кому он обращается.

- Да ты оглох, что ли? — возмущается тот же человек.
- Кому это он кричит? — спрашивает Борис Васильевич.
- Не знаю. По-моему, не нам.
- Диду-у-у... — снова доносится до нас с берега.
- Ты кому кричишь? — рывкает Барнет.
- Тебе, тебе! У тебя спичек нэма?

Барнет выругивается про себя, как-то сразу грустнеет и, вижу, начинает сматывать леску. Еще раз шлепнув себя по шее, он говорит:

— К чер-р-рту! Поехали домой, Ньютона комары зажрали.

А спустя несколько дней, показывая, как должен ходить Генрих Эккерт, офицер фашистской армии, без всякой связи с предыдущим текстом киносценария, Борис Васильевич вдруг говорит:

— Ты понимаешь, Пауль? Первый раз в жизни меня назвали дедом!

Понимаю, как больно ранил тогда рыбак в накомарнике здорового, сильного человека, физически не ощущавшего течения времени...

Работал Барнет много. Не считался со временем, усталостью. Увлекался работой он до такой степени, что наша группа ассоциировалась у меня с каким-то воинским подразделением, которое каждый день ходило в атаку или штурмовало бастион. И когда кто-нибудь жаловался на усталость, он говорил:

— Усталого всегда бьют!

— Отсталого, а не усталого, — однажды возразил я.

— Ну да, сначала устанешь, а потом отстанешь, вот тут-то тебе и дадут по шее. Пошли, пошли репетировать.

На съемочную площадку Борис Васильевич не позволял себе выходить с неготовой, неотрепетированной до мельчайших подробностей сценой.

Трудно сказать, что он любил больше — момент фиксации отрепетированного или саму репетицию — радость рождения «правдоподобия чувствований» или работу за монтажным столом. Во всяком случае, репетиционный процесс работы обставлялся самым серьезнейшим образом. Упаси бог, если кто-то нарушит этот благоговейный момент. Тут могла взорваться бомба неудержимого темперамента Барнета.

Вспоминается случай, когда мы репетировали ночную сцену прихода предателя Медведева к Генриху Эккерту со списком скрывающихся «неблагонадежных» граждан.

Тихо раздвигается портьера, и в кабинет Эккерта «вползает» расплывшаяся фигура Медведева. Кашлянув в кулак и пошуршав списком, чтобы привлечь внимание сидящего за столом Эккерта,

углубленного в чтение бумаг, Медведев сипло и вкрадчиво произносит:

— Чрезвычайную мягкость к населению могу объяснить только незнанием местных условий...

Эту фразу Медведев не договаривает. Над нашими головами, где-то на крыше павильона, раздается угрожающий грохот. Все вскакивают со своих мест. Репетиция прерывается. Лицо Бориса Васильевича искажается недовольной гримасой.

Во всю силу своих могучих легких он рывкает:

— Марьян Осипович! Мина! Немедленно найдите этого негодяя и дайте ему взбучку!

Через некоторое время на крыше слышится какая-то возня, звук прогибающегося под ногами пола и робкий приглушенный голос ассистента Миши:

— Борис Васильевич, это... ветер.

— Все равно догони его и дай по шее!

— Сейчас! — отвечает Миша.

В павильоне раздается дружный хохот. Конечно, вместе со всеми смеется и Барнет. Настроение исправляется. Репетиция продолжается.

Еще на кинопробе обращаю внимание на дружеские отношения в коллективе.

— А ну, братцы «ослепители», шевелитесь побыстрее! — торопит Барнет. — Нам ведь дали сегодня полсмены. Да еще и в чужой декорации...

Смотрю, светотехники не обижаются на его шутки. Более того, все работают дружно, с желанием помочь. Понимают, что за эти полсмены Барнет должен снять не одну актерскую пробу, а несколько.

Для меня до сих пор остается загадкой сам факт приглашения автора этих строк на роль мужественного разведчика. Тем более что среди множества претендентов на эту роль был и замечательный артист Добронравов. Не мог же я сыграть лучше, чем он! Ведь до этой роли я играл совсем других людей.

«Возможно, «Робинзон Крузо», первый отечественный стереоскопический художественный фильм в постановке А. Н. Андриевского подсказал Барнету мысль о некоторых моих способностях к перевоплощению? — размышлял я. — Ведь роль разведчика соединяла в себе две роли — майора Федотова и Генриха Эккерта».

Ясно для меня было одно, что Борис Васильевич не идет проторенными дорогами. Он не стремится использовать когда-то удачно сыгранную артистом роль, которая, несколько

трансформируясь, потом долго путешествует из картины в картину.

А может, буква «р», на особый лад произносимая Барнетом, способствовала удаче этой пробы?

В тексте сцены, который мне вручил ассистент для съемки, была фраза на немецком языке. Она была столь упряма, что никак не хотела становиться своей, органичной.

— Виртшафтлихе централе ин остен, — повторяю слова на все лады, но они все-таки звучат по-русски.

— Пауль, — говорит Борис Васильевич (он почему-то сразу перекрестил меня на немецкий лад), — попробуй сделать ударение на первом слове.

Пробую, но все же фраза упорно звучит по-прежнему.

Барнет подходит ко мне, облакачивается о стол, за которым сижу я, Генрих Эккерт, и, глядя мне в глаза, несколько раз повторяет подряд:

— Вирт! Вирт! Виртшафтлихе! Ты понял меня?

Терпение мое лопнуло, и я в точности передразниваю Бориса Васильевича, делая ударение на первом слоге, грассирую.

— Хорошо, прекрасно! Давайте сниматься! — одобряет он и радостно улыбается.

Так в фильме буква «р» разделила два характера: майора Федотова и Генриха Эккерта. Ведь трассирование типично для немецкой речи. Оно слилось с Эккертом, стало его органикой.

Слова одобрения, вера в артиста помогают духовному и физическому раскрепощению гораздо больше, чем первый окрик. В те дни в этом еще раз убеждаюсь, видя, как Барнет очень старается найти в каждом артисте что-то новое. И находит! Находит подчас глубоко спрятанное, о чем и сам артист порой не догадывается.

После удачной пробы меня утверждают сниматься в «Подвиге разведчика» в главной роли, и я... надеваю форму майора государственной безопасности.

В короткие часы отдыха Борис Васильевич заходит к лам домой, возится с нашим маленьким сыном, шутит, смеется. Помнится и такое. Сядет Борис Васильевич в колченогое бутафорское кресло... Время было тяжелое, послевоенное. И обстановка в наших квартирах была довольно жалкая... Посидит, помолчит, взъерошит сидящую шевелюру и скажет:

— Пауль, расскажи мне про дьякона.

— Про какого дьякона?

— Про Андрея Папилыча, который тонул, когда вы с ребятами играли...

— Так я вам уже рассказывал о нем раз пять.

— Расскажи в шестой. Ну давай, давай, не ломайся.

И я в шестой раз рассказываю незамысловатую историю про то, как наш деревенский дьякон, страстный рыболов, в который раз запутавшись в долгополой рясе, падал из лодки и, цепляясь за ее борт, громоподобным басом кричал:

— То-о-ну-у-у! Помогите, православные!

Вспоминаю, как наша соседка Харитониха, равнодушная к дьяконовым воплям, потому что он тонул уже в двадцатый раз, высунувшись из калитки, спокойно вытирая руки о фартук, негромко кричала:

— Коля, Павлик! Лодку давай: опять дьякон тонё-ёт!

Рассказываю это с увлечением, в подробностях, в лицах. Стараюсь сыграть возможно достовернее всех ребятишек — моих сверстников, Харитониху, дьякона Андрея Паниловича.

А Барнет хохочет, довольно потирая руки...

Зачем ему все это было нужно? Секрет был прост: Барнет хотел видеть и знать своих соратников по работе во всех подробностях их актерской и человеческой сути. Ему хотелось понять и потенциальные возможности тех, на кого он возложил труднейшую задачу — быть полпредом его идей. Способны ли они донести до зрителей многосложные образы, столь тщательно выписанные авторами?

Повторяю, в «Подвиге разведчика» Борис Васильевич Барнет блестяще проявил себя не только как режиссер-постановщик, но и как актер в роли немецкого генерала Кюна.

И то, и другое, а главное — вера в человека! — и помогли мне создать правдивый образ Алексея Федотова, глубже понять суть, назначение искусства.

Мой старший товарищ

Судьбе угодно было распорядиться так, что с талантливым артистом Федором Михайловичем Никитиным я работал в юные и зрелые годы в театре и кино. А если говорить точнее, то актера Федора Никитина я узнал задолго до знакомства и работы с ним на сцене театра.

Четырнадцатилетним мальчишкой приезжаю в город на Неве с Урала, из небольшого поселка Бикбарда, хотя, как вам уже известно, я родился в Петрограде.

С чего начинаю знакомство с кинотеатрами родного города? Догадываетесь? Ну, конечно же, с просмотра фильмов с участием звезд мирового экрана.

Пересматриваю все боевики с участием зарубежных звезд немого кино: Рудольфо Валентино, Эмиля Яннингса, Мэри Пикфорд, Дугласа Фербенкса...

Вижу, возле кинотеатра продают тоненькие брошюрки об артистах. Покупаю книжечку «Федор Никитин», читаю — и сразу же появляется желание посмотреть все фильмы с участием этого артиста.

Смотрю их один за другим. Все нравятся! Но особенно — фильмы режиссера Фридриха Эрмлера «Катка — Бумажный Ранет» и «Обломок империи», где так отлично играет Федор Никитин.

Этот актер для меня, еще подростка, становится вровень с иностранными кинозвездами. И — даже выше их!

А потом, уже в пятидесятые годы, встречаюсь с итальянскими киножурналистами, и они просят назвать один современный фильм из всего мирового кинематографа, который мне нравится больше всех.

— Советский фильм двадцатых годов «Катка — Бумажный Ранет», — отвечаю.

— Почему? — спрашивают гости из Италии.

— Потому что он очень похож на ваши лучшие современные картины.

И они подтверждают, что их кинематограф развивается не без влияния советских немых картин. В частности, и тех, в которых снимался Федор Михайлович Никитин.

В 1935 году выпускники Ленинградского театрального института организовали свой театр — Новый ТЮЗ. И когда к нам в труппу вступил Федор Никитин, для меня это было событием жизни.

У мастера я многому научился, многое перенял. Например,

творческую самодисциплину. Как об этом рассказать?

Молодости свойственно искать, пробовать, испытывать себя во всем. В молодые годы и я был человеком увлекающимся: занимался спортом, рисованием, писал рассказы, играл на гуслях...

С Федором Михайловичем мы делили одну гримировочную, играли в одних спектаклях. И часто спорили, даже ссорились.

— Ты слишком разбрасываешься, — в который раз говорит он мне. — Слишком разболтан.

Обидно это слышать в молодости? Очень! Но обида проходит, разум берет свое. Ведь я вижу серьезное отношение старшего товарища к своему делу — как к делу святому. И понимаю: во многом Федор Михайлович прав.

В «Борисе Годунове» в то время оба играем стариков.

Он — Пимена, а я — Патриарха. Он приходит в гримерную за час, а я — минут за двадцать-тридцать до спектакля.

— Ты себя безобразно ведешь, — говорит мне Никитин. — Ты должен быть заранее готов к выходу на сцену.

Опять обидно! Мне легче находить правильный грим, быстрее лепить нос, накладывать топа. Он же каждый раз приноравливается к роли... И как же мне хочется повздорить, отстоять свою правоту!

Федор Михайлович даже не подозревает, что, не ведая о том, заставил меня заниматься спортом. Дело в том, что в «Годунове» он играет еще и шляхтича Вишневецкого. Внимательно наблюдаю за ним в сцене бала и думаю: «Как же легко он ходит, красиво двигается, блестяще танцует мазурку! Надо, чтобы и мое тело подчинялось мне. Необходимо заниматься культурой тела».

Словом, Федор Михайлович был для меня примером священного отношения к нашей профессии. Во всем. И даже вне сцены.

Я — комсомолец, воспитанный в деревне, ходил тогда в косоворотке. И Федор Михайлович внушает мне, артисту, что я должен носить крахмальный воротничок и галстук.

Поступаю так, как советует он. И убеждаюсь, что вид действительно подтягивает, дисциплинирует, держит в форме.

Признаюсь честно: умению носить костюм, двигаться я учился, наблюдая за Федором Михайловичем на сцене. А он об этом и не догадывался.

Никитин разбудил во мне наблюдательность, приучил быть внимательным, укрепил веру в то, что паше актерское дело — очень важное, необходимое пароду, серьезное дело.

А какие у нас, в Новом ТЮЗе, были общие сборы! Собиралась вся труппа. Обсуждались наши проблемы, распределялись роли,

анализировались пьесы.

Борис Вольфович Зон в то время часто ездил в Москву, бывал на репетициях во МХАТе, беседовал со Станиславским о его системе. Возвращаясь, он пересказывал нам мысли мастера, сообщал новости.

На одном из таких сборов Федор Михайлович: Никитин, сам прошедший мхатовскую школу, вдруг говорит:

— Как я счастлив, что попал в творческий санаторий!

Меня тогда эта фраза так поразила, что я запомнил ее на всю жизнь.

И теперь, когда попадаю в интересную творческую группу, всегда вспоминаю эти слова Федора Михайловича.

Как-то на одном из просмотров фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино» я закончил свое небольшое выступление этой фразой. Правда, в несколько ином варианте.

— Кому удастся попасть в группу Никиты Михалкова, — говорю коллегам-артистам, — тот окажется в творческом санатории.

Так уж устроен каждый из нас, что, общаясь с живущим и работающим рядом человеком, мы, порою незаметно и для него, и для себя, много — очень много! — берем от него. И счастье, когда у человека этого есть чему поучиться, есть что впитывать, когда на работу идешь с удовольствием, ожидая радость такого общения и творчества.

Лучший рассказчик

Долгое время Александр Николаевич Вертинский жил со своей семьей в гостинице. Наконец-то получил квартиру — и поселился этажом выше известного академика ...ского.

Академик был очень огорчен таким соседством. Еще бы! Всему миру известный певец. Богема. Бесконечное бренчание на рояле...

Старый ученый каждый вечер с тревогой прислушивается к малейшему шуму на своей тихой лестнице. Но, к своему великому удивлению, ничего подозрительного не обнаруживает.

Проходят дни, недоли, месяцы. И каждый раз, садясь за письменный стол, старый ученый с беспокойством поглядывает на потолок и потом уже углубляется в свою работу.

Однажды летним погожим вечером, перед сном, ученый решил погулять по городу. Лифт, как это часто с ним случается, не работал, и ученому пришлось спускаться по лестнице пешком.

Остановившись на одной из лестничных площадок передохнуть, академик слышит шаги поднимающегося человека. Очевидно, усталого: шаги медленные и тяжелые. И вот уже хорошо видно, как, заложив руки за спину, низко опустив гладко причесанную лысеющую голову, поднимается знаменитый Вертинский.

На площадке Александр Николаевич тоже останавливается передохнуть. Соседи внимательно смотрят друг на друга.

— Здравствуйте, — говорит ученый и снимает свою черную академическую шапочку.

— Здравствуйте, — грассируя, отвечает Вертинский.

Ученый топчется на месте в смущении, комкает в руках свою черную шапочку и обращается к Вертинскому:

— Александр Николаевич, я виноват перед вами. Простите меня, старика, великодушно.

— Не понимаю, простите.... — отвечает Вертинский.

— Видите ли, душа моя, — продолжает ученый, — когда вы шесть месяцев тому назад поселились над моей квартирой, я подумал, что моя научная работа закончилась. Сосед-певец — это катастрофа. Вечное пение, вечная музыка, шум... Я уж, грешным делом, подумывал, не сменить ли мне квартиру. И вдруг такая тишина... Спасибо, друг мой, спасибо...

Александр Николаевич, помолчав, грустно улыбается и с какой-то удивительно печальной ноткой в голосе отвечает:

— Дорогой мой, о каком пении вы изволите говорить? О чем изволите вести речь? Я, знаете ли, уже тридцать лет даром даже

рта не раскрываю.

Александр Николаевич вежливо кланяется ученому и, заложив руки за спину, поднимается выше.

...Как-то после просмотра фильма «Заговор обреченных» Калатозова я оживленно беседовал с коллегами. Говорили о кардинале, роль которого, с нашей точки зрения, великолепно сыграл А. Н. Вертинский.

— Легок на помине! — говорит киноартист Константин Сорокин, увидев Вертинского, медленно шагающего к нашей группе.

Михаил Кузнецов пододвигает кресло. Александр Николаевич садится, вынимает серебряный портсигар, закуривает.

— А мы вас хвалим, Александр Николаевич, — улыбается Сорокин.

— И превосходно делаете. Я действительно не так уж скверно сыграл эту роль.

Потом разговор заходит о съемках в Голливуде. Выяснилось, что Александр Николаевич вовсе не новичок в кино: он снимался и в Германии, и во Франции.

И, как всегда это случалось, когда рассказывает Вертинский, все присутствующие превращаются в слушателей.

Сорокин особенно внимателен. Он даже чуть приоткрывает рот, замирает, активны только глаза: они сопровождают каждое движение рук Вертинского. И вдруг их взгляды встречаются. Секундная пауза — губы Сорокина смыкаются, а Вертинский улыбается.

— Сорокин! — вдруг произносит он. — Вы мне положительно нравитесь. У вас такое удивительно русское лицо! Я бы вас очень хотел видеть на своем концерте. Вы прекрасно умеете слушать. Это не всякому дано. Приходите, Сорокин, прошу вас.

— Не могу, Александр Николаевич.

— Почему? — удивленно спрашивает Вертинский.

— У меня нет денег, — не задумываясь, отвечает Сорокин. Все дружно смеются.

— Ну что за чепуха, — говорит Вертинский. — Я вас устрою на концерт бесплатно, в первый ряд!

— Вы меня не поняли, Александр Николаевич, — так же не задумываясь, отвечает Сорокин. — После вашего концерта надо... стимулирующего много пить!

Александр Николаевич хохочет дольше всех.

Вертинский был, вне всякого сомнения, одним из лучших рассказчиков. Он с необыкновенной легкостью умел превращать любого словоохотливого собеседника в самого внимательного слушателя.

Как-то после концерта, а мы в это время гастролировали в Вильнюсе, зайдя поужинать в один из самых старых ресторанчиков, случайно встречаемся с Александром Николаевичем.

— Удивительная встреча произошла сейчас у меня, — говорит Вертинский, здороваясь с нами. Он засовывает накрахмаленную салфетку за воротник и продолжает:

— Только успел сесть вот за этот стол, как ко мне подошел официант, и, наклонившись, спросил тревожным почему-то шепотом:

— Александр Николаевич, вы не узнаете меня?

— Нет, дорогой, не узнаю.

— А вы взгляните в меня, может быть, вам что-нибудь напомним моя лысая голова и манера держать ее в полупоклоне, немножко набок, как у Чичикова? Так вы сами когда-то говорили.

— Такая манера держать голову напоминает мне владельца этого ресторана.

— Так вот, я — его сын... Я был еще совсем мальчиком и помню, что вы однажды — о, это было очень давно! — сидели за этим же столиком с одним из своих приятелей, с артистом Шверубовичем-Качаловым. Я помню до сих пор обрывки вашего разговора... О нет, я не подслушивал, я просто внимательно слушал. Он говорил, что роль Барона в спектакле «На дне» Горького как бы срисована была целиком с вас. Манера грассировать, надевать перчатки, шлифовать ногти, ходить и многое другое. «Если бы не ты, Саша, я никогда в жизни не сыграл бы Барона».

Александр Николаевич чуть заметно показывает на человека, стоящего в полупоклоне, с салфеткой на согнутой руке. Мы догадываемся, что это и есть сын бывшего владельца ресторана.

Не помню, ел ли я что-нибудь в этот вечер и ела ли жена... Мы слушали, Александр Николаевич был в ударе, он рассказывал о своих выступлениях за рубежом.

— Но это всегда было в кабаках, хоть и аристократических, но все-таки в кабаках, — грустно покачивая головой, заключает он. — Я всегда был для них эмигрантом. А теперь, теперь я пою в Доме офицеров Советской Армии, и самое чудесное то, что у моих девочек есть Родина!

Александр Николаевич отпивает из маленькой чашечки глоток кофе и продолжает:

— Последний мой концерт был в Японии. Я пел самому божественному микадо.

— Микадо?! — в один голос воскликнули мы. — Неужели самому микадо?

— Хирохито. И после исполнения бессмертного «Беса» Хирохито так расчувствовался, что предложил мне Японию и свой трон!

Наступает долгая пауза. Мы с женой недоуменно переглядываемся, и я неуверенно выражаю сомнение:

— Но ведь это же неправда, Александр Николаевич.

Вертинский, кивнув головой, спокойно отвечает:

— Конечно, неправда. Но ведь это же так интересно!

«Спасибо, пионерия! спасибо, комсомол!..»

Подмосковье! Во все времена, в любое время года оно очаровывало, очаровывает и, убежден, будет очаровывать людей разных возрастов, поколениях своей удивительной красотой.

Лишь дай волю воображению — и живо представишь, как вот по этой же дороге, под осенней золотистой кроной этих дубов-великанов едут чем-то похожие на каждого из нас и в таком же возрасте, как мы, но совсем другого, безвозвратно ушедшего века, люди. Едут под звон бубенцов! Одни — в кошёвке, запряженной парой гнедых или вороных, другие — на старинной русской тройке. Едут и так же, как мы, смотрят и не могут налюбоваться этими холмами, перелесками, островками белых берез, могучими елями и необозримыми родными просторами.

Но — кто это «мы»? Мы — это Ирина Всеволодовна Мейерхольд, Василий Васильевич Меркурьев, их сын Петр Васильевич и я. Куда и зачем: едем? В город Железнодорожный. Приглашены сюда заместителем председателя комиссии по музыкально-эстетическому воспитанию детей Петром Васильевичем Меркурьевым на концерт хора «Пионерия».

В этот осенний день 1975 года мы едем в «Москвиче». Природа Подмосковья очаровывает нас. И нам кажется, что не в машине, а на старинной тройке мы быстро мчимся мимо древних русских лесов. Взору открывается такая девственная красота, что все мы невольно улыбаемся.

— Чего ты улыбаешься? — поддразнивая меня, спрашивает Василий Васильевич.

— Думаю, как красиво! А ты?

— И я о том же. Красота!

И глаза наши, видимо, как и тех, путешествовавших задолго до нас, жадно вглядываются в летящие мимо картины природы, наполненные музыкой жизни. А может быть, это только нам сейчас все эти удивительные картины природы кажутся музыкальными? Почему? Да потому, что мы приглашены к поющей пионерии. Едем на встречу с музыкой, песней.

Так или иначе, но все мы сейчас не только видим, но и слышим природу. Молодые и стройные березки за окнами, кажется, уже кружатся в веселом хороводе и поют русские песни.

О хоре «Пионерия» знаю пока мало. Но и то, что знаю, вызывает удивление.

— Петя, — спрашиваю собеседника, — скажи мне откровенно, как педагог «Пионерии», правда ли, что в хор ваш принимают детей без специального отбора?

— Да. — отвечает влюбленный в «Пионерия» молодой педагог Петр Меркурьев.

— Как же так? — недоумеваю. — Взяли в хор человека, а он берет... не ту ноту. Это — если один такой. А если их много? Что же тогда получается? Один — в лес, другой — по дрова?

— Ну и что из того, что на первом году обучения большинство из ребят «гудошники» и не могут взять ту или иную ноту? — говорит Петр Васильевич. — Пройдет время, научатся добиваться, смогут помогать друг другу. Первые успехи, первая вместе чисто спетая гамма — и пойдет! Запоют бывшие «гудошники»! Да еще как запоют!

— Что же это получается? Всех без исключения берете в хор?

— Не берем только тех, у кого нет никакого голоса, и с тотальной глухотой — кто абсолютно не слышит мелодию. А тех, кто сколько-нибудь слышит и у кого есть хоть минимальная способность к воспроизведению звука, конечно, берем.

— Но, простите, — доказывая, стараюсь привести веские, безупречные аргументы, — есть же люди, которым, как говорится, медведь наступил на ухо. Существует же в природе и такое понятие, как «абсолютная музыкальная глухота».

— В природе нет такого понятия, уважаемый Павел Петрович! — решительно, я бы даже сказал, грудью встает на защиту сына и его доброго дела Меркурьев-старший.

— Василий Васильевич, — теперь уже обращаюсь к нему, — может быть, в природе не существует и таких понятий, как «талантливый», «бездарный» ученик?

— Не существует!

— Что же выходит? По-вашему, их выдумали, что ли?

— Вот именно, выдумали!

— Кто?

— Бесталанные педагоги, бездарные учителя! Вот они в природе действительно существуют. А дети все талантливы. Решительно все! Дети талантливы еще и в жадном познании музыкальной культуры, в страстном желании петь в хоре, в желании быть в дружном и справедливом коллективе. Разве ты не согласен с этим? У самого-то у тебя, насколько мне известно, есть музыкальный слух?

— Когда-то был.

— А сейчас?

— Кажется, есть.

— А сердце свое сохранил для восприятия прекрасного и доброго?

— Стараюсь сохранить.

— Тогда о чем же речь? Послушаешь сейчас «Пионерия»

сердцем — только непременно всем сердцем! — и оно само решит и подскажет тебе истину жизни. Сам убедишься.

Незаметно пролетают двадцать-тридцать километров — и мы приезжаем в подмосковный город Железнодорожный, где живет удивительно интересной жизнью поющая «Пионерия».

Петр Васильевич знакомит нас с руководителем хора Георгием Александровичем Струве, о котором он много рассказывал доброго. Признаться, руководитель хора выглядит вовсе не так, как я его себе представлял. Думал, увижу солидного человека, похожего, скажем, на Римского-Корсакова или Мусоргского. Каково же было мое удивление, когда нас встретил молодой человек. По возрасту — чуть старше Петра Меркурьева.

Этот молодой человек трясет наши руки, а Меркурьев-младший как-то особенно уважительно представляет его нам:

— Струве Георгий Александрович.

Поднимаемся на второй этаж. Здесь нас знакомят с преподавателями и рассказывают об основных принципах музыкального воспитания.

— Научить слушать и слышать — вот что главное для нас, — говорит Георгий Александрович. — Постараться научить себя понимать мир окружающих нас звуков...

Из того, о чем рассказывает он, мне особенно нравится мысль, что петь хором могут люди, только хорошо относящиеся друг к другу. И в самом деле: настоящий хор возможен лишь там, где любят природу, человека. А когда в группе людей недомолвки, вражда и раздоры, они не споют хором! Не случайно же о таких и в народе говорят: «Да-а-а, эти люди не спелись».

Более того. Только благодаря уважению, пониманию, глубокой вере друг в друга и создается подлинное искусство. Уверен, так же думают и стоящие сейчас рядом со мной и Василий Васильевич, и Ирина Всеволодовна.

Официальная часть знакомства длится всего несколько минут. Руководитель хора представляет нас ребятам, тепло и ласково говорит о них, и... начинается чудо.

Георгий Александрович встает на свое, видимо, привычное, дирижерское место. Он весь подтягивается, выпрямляется, чуть подтягивает подбородок, как бы говоря всем своим видом: «Приготовились!»

Ребята замирают. Полная сосредоточенность. Абсолютное внимание. Такое ощущение, что сейчас должен прозвучать выстрел стартового пистолета.

Руководитель хора выбрасывает левую руку в сторону, широко раскрывает пальцы и, обращаясь к нам, тихо говорит:

— Ладонь — нотоносец. Пять пальцев — это пять линеек, на

которых по нашему желанию размещаются ноты. Сейчас мы споем несколько упражнений.

Пальцами правой руки Георгии Александрович показывает на «ноты» (ладонь — нотоносец) — и звучит мощный, стройный аккорд. Еще аккорд — и зал заполняется волшебными звуками!

Как мы понимаем, руководитель хора явно импровизирует, показывая на пальцах самые неожиданные сочетания нот, а сообразительные и дружные ребята мгновенно считают все, что написано в этой своеобразной нотной тетради.

И вдруг по волшебному мановению руки дирижера ребята запевают песню «Ты река ль, моя реченька».

«Да это же народная песня из спектакля моей юности! — охваченный чувством думаю я. — Да, это было давно. Но — было! Когда я был очень молод и много пел в спектаклях. Конечно же, это — то самое время, когда я играл Леля в «Снегурочке» Александра Николаевича Островского. Какая в том спектакле звучала музыка Петра Ильича Чайковского! Она была специально написана им в свое время для этой пьесы. А сколько в том спектакле было вот таких изумительных русских народных песен, что поют в этом зале ребята!..»

Песня, русская песня, народная. Нет таких глубин в душе человека, которых ты не могла бы коснуться своим волшебством!

Под чарующие звуки народной песни вспоминаю сокровенное. В эти короткие минуты глубокого волнения передо мною, как в кинематографической лепте, проплывает все, начиная с давнего детства.

Город на Неве, где я родился.

Уральская деревня Амур — родина моих дедов и прадедов.

Наш дом в соседнем селе Бикбарда. Брат Коля, сестра Зоя...

Отец с доброй улыбкой, читающий нам стихи Никитина у бикбардинского пруда на утренней зорьке.

Мама, ведущая меня за руку первый раз в первый класс в школу крестьянской молодежи к первой учительнице Антонине Васильевне Харловой.

Под этот дружный хор «Пионерии» вспомнилось и мое уральское пионерское детство. Вспомнил своего любимого учителя — агронома Феодосия Васильевича Виноградского. Нашу звонкую песню на его слова и на известный мотив песни пламенных революционеров:

Мы — ШиКеМята дружные.

И о нас

Село в часы досужные

Ведет рассказ...

Вспоминаю свои пионерские годы, комсомольскую юность, студенческую пору и тяжелые годы войны...

Обычно не определяю заранее, о чем буду говорить на той или иной встрече. Верное решение подсказывают люди, с которыми встречаюсь, их мысли и чувства в час нашей встречи.

Вот и сейчас смотрю на ребят и думаю, о чем им рассказать. Ясно одно: рассказать надо что-то интересное. Но о чем? О том, как дружные ребята могут побеждать силою искусства?

Да. Пожалуй, расскажу и о том, как, слушая «Пионерия», вспоминаю работу над кинокартиной «Наши песни» прославленных режиссеров братьев Васильевых.

Этого фильма, к сожалению, зрители не увидели. Он не был закончен, но работали мы над картиной увлеченно.

С фильме должен был сниматься Краснознаменный ансамбль песни и пляски Советской Армии под управлением А. В. Александрова. Мне запомнился рассказ о гастролях ансамбля в Париже.

— Враждебно настроенные к Советскому Союзу какие-то люди решили провалить одно из выступлений ансамбля, — вспоминал тогда Александров. — Хор поет широкую раздольную русскую песню «Ах ты, степь широкая». Неожиданно в зрительном зале раздаются свист, улюлюкание, топот. На сцену полетели гнилые яблоки. Откуда-то сверху посыпались листовки. Топот ног заглушает песню. Поднимается невероятный шум... Даю знак ансамблю — и, перекрывая шум, свист, улюлюкание, в зал врывается веселая, задорная «Калинка»:

Калинка, калинка, калинка моя!
В саду ягодка малинка, малинка моя!
Ах! Под сосною, под зеленою...

Вихрем влетают на сцену танцоры ансамбля — и пошла писать губерния!.. Это сражение с враждебными силами длится недолго. Зрители аплодируют ансамблю стоя.

А потом, — завершает рассказ руководитель прославленного коллектива, — после выступления, наши друзья французы говорят нам: «Да-а-а. Так побеждать силою искусства могут только дружные ребята!»

Решил уже было об этом рассказать ребятам «Пионерии», но... останавливает мысль: «Рядом с тобой сейчас Василий Васильевич Меркурьев. Расскажи лучше о том, как он помог тебе в кинофильме «Повесть о настоящем человеке» сыграть роль

бесстрашного и мужественного летчика-истребителя Алексея Мересьева. Ведь фильм «Повесть о настоящем человеке» не об одном герое, а о многих людях. Разве не так?»

Все верно. Не будь рядом с этим летчиком таких настоящих советских людей, как Степан Иванович, которого играл Меркурьев, не было бы и меня, летчика Мересьева.

И, вспоминая работу над этим фильмом, вижу, как судьба сводит в госпитале моего Мересьева и Степана Ивановича. Почти зримо вижу, как Меркурьев репетирует, ведь до сих пор помню каждую его интонацию.

Его Степан Иванович сидит в палате на подоконнике и смотрит на воробьев за окном. Степан Иванович — Меркурьев с такой достоверностью говорит о поведении птиц, что, кажется, я слышу их чириканье.

А потом Степан Иванович вздыхает и произносит:

— Весна!..

Произносит так, что в этом вздохе сливается все. В его интонации я не просто слышу, а ощущаю всем сердцем и естественное облегчение человека, и тревогу за то, какие еще заботы возложит военная весна на плечи народа.

Вроде бы окончательно решил именно об этом сейчас и рассказать ребятам. Но снова останавливает сомнение: «А удобно ли, скромно ли с моей стороны: столько добрых слов сказать в один вечер о стоящем рядом с тобой человеке, хотя и вполне заслуживающем, этого?»

Мысли эти мгновенно пролетают под задушевное исполнение ребятами песни? «Ты река ль, моя, реченька». Слушаю, вместе с ними в душе подпеваю и размышляю: «О какой речке поется? О Неве? Речке Бикбардинке? О Москве-реке? Или, может быть, народ вот так, любя всем сердцем, величает реченькой свою красавицу Волгу?»

В памяти тут же оживает все, что видел давно и недавно на берегах великой русской реки.

«А может, и рассказать мне ребятам сейчас лучше всего об этом, о своей недавней поездке в Волгоград? Но уместен ли такой рассказ в веселый праздничный день?»

Делюсь этими своими мыслями и сомнениями с Василием Васильевичем Меркурьевым. Он наклоняется ко мне и быстро, скороговоркой властно шепчет на ухо:

— Об этом надо говорить!

Принимаю окончательное решение.

— Дорогие ребята! Наша славная «Пионерия»! — обращаюсь к школьникам, когда они закончили петь и мне предоставили слово. — От всего сердца спасибо вам за радость, наслаждение

слушать настоящее хоровое пение... хоровое искусство!

А ваша песня «Ты река ль, моя реченька» напомнила мне Волгу и великое людское море скорби у мемориала Победы на Малаховой кургане.

«Стоять насмерть!» Как сейчас вижу эту надпись. «Стоять насмерть, за нами земли нет!»

В зале мемориала я видел убеленную седилой старушку и мужчину в ватнике. Они стояли на коленях перед списком погибших!

Чье имя они нашли в этом списке? Может, сына. А может быть, брата?..

Не успеваю закончить свой рассказ. Его завершают ребята. Руководитель хора поднимает руку, и звучит песня, посвященная матерям погибших героев.

Смолкают детские голоса. Наступает напряженная тишина.

На глазах у Василия Васильевича и Ирины Всеволодовны слезы.

Меркурьев, вытирает платком глаза, взволнованно смотрит на школьников, на сына, на руководителя хора и тихо, очень тихо говорит:

— Спасибо, пионерия! Спасибо, комсомол!..

От всей души и я повторяю эти слова благодарности нашей доброй завтрашней смене.

Как актер и режиссер я обязан постоянно тренировать свою эмоциональную память, бережно хранить, как в драгоценной шкатулке, все, что потом может помочь сыграть ту или иную роль, поставить кинокартину.

Сейчас, много времени спустя, думая о встрече с «Пионерией», прихожу к выводу, что эмоциональная память сохранила мне тепло человеческих сердец.

Глубоко верю в то, что ребята из хора навсегда сохранили в душе любовь к своему родному Подмосквью, Москве, Волгограду, к нашей великой матери-Родине. Верю, что чистоту и добрый свет песен «Пионерии» они сохранят в себе на всю жизнь.

С любовью к природе

С любовью к природе

Не могу без волнения думать о природе, видя, как нуждается она в нашей защите, в поиске путей ее сохранения и возрождения.

Размышления эти мои будут предельно откровенны и самокритичны. Не обойтись здесь без глубоких эмоций. Но без человеческих эмоций никогда не было, нет и быть не может человеческого искания истины.

А как тут не вспомнить изречения древних? Каких «древних»? Не ведаю. Как драгоценное наследство передал мне это мудрое изречение народа дед. Где и от кого он это слышал? Очевидно, и сам он ответить на этот вопрос не мог. Достоверно одно, что не прочел, а слышал: ведь он не то что писать и читать — крестик с трудом выводил вместо своей подписи.

Но изречение, сказанное им, не просто звук. В нем — глубочайшее содержание: «Человек, не способный умилиться перед природой и в восторге уронить слезу, созерцая красоту ее, есть полчеловека».

В данном случае слова «умилиться», «умиление» не следует понимать, как слова сентиментальные. Мне думается, что человек, глубоко чувствующий и понимающий красоту, остановившись перед скульптурой Родена «Вечная весна», невольно замрет. И чем дольше он будет любоваться творением рук человеческих, создавших «Природу», тем глубже и острее почувствует происходящее и нем духовное очищение.

Вот этот священный момент внутреннего трепета, восторга, наслаждения прекрасным, когда наш мозг и сердце не осквернены злобой, завистью, долами суетными и подчас никчемными, и надо понимать в данном случае как смысл слова «умиление».

Связь же между природой и подлинным искусством постоянна и неразрывна. Природа — величайший художник — вместе с П. П. Бажовым сотворила «Малахитовую шкатулку». Левитан и природа создали бессмертное полотно «Над вечным покоем».

Стоит ли ругать природу, если надсадно стонет ветер и бушует Нева? Не она ли, природа, напела великому Пушкину музыку его вечной поэмы:

Над омраченным Петроградом
Дышал ноябрь осенним хладом.
Плеская шумною волной
В края своей ограды стройной,
Нева металась, как больной

В своей постеле беспокойной.

Не ставлю сейчас цель проникнуть в философскую сущность слияния человека, природы и искусства. Мной как художником, артистом, владеет эмоциональное восприятие природы. В какое время года человек более всего способен воспринимать красоту, зависит от него самого.

Вряд ли следует доказывать, что лютый мороз щедро дарит изумительные рисунки вологодским кружевницам, а их вдохновенное мастерство прославлено во всем мире!

Что прекраснее? Ясный полог бледно-голубого неба или многоцветие предгрозовых туч? Прозрачный день, напоенный ароматом трав, или полночь?

Певец русской природы Фет писал:

Полнощный свет, ты — тот же день.
Белей лишь блеск, чернее тень,
Лишь тоньше запах сочных трав,

И как же горько бывает человеку, не только художнику по профессии, просто человеку, когда вот этот самый воздух, о котором пишет поэт, безжалостно отравлен самим человеком!

Мы, люди, в сущности, являемся наивысшим творением природы. Но как же зачастую мы безжалостны и беспощадны к ней!

Мы вырубаем прекрасные рощи, засоряем поля и леса, отравляем реки и озера. И даже океаны!

Разве это не правда? Может быть, что просто мои злобный выпад против разумнейшего из живых, населяющих нашу Землю, против самого «царя природы» — человека?

Не трудно при желании насчитать не одну сотню благих призывов в защиту природы. Можно в доказательство сказанного вытащить из архивов для всеобщего обозрения судебные дела над браконьерами. Легко сделать множество выставок, состоящих только из карикатур, жестко, остро, иногда очень талантливо высмеивающих «царей» природы, «пользующихся» ее дарами.

Сколько усилий тратит человек на ожесточенную борьбу с самим собой!

Множество туристов со всех концов земного шара едут в нашу страну познакомиться с нашей жизнью. Они зримо убеждаются во многих добрых делах, видят достижения советских людей.

Редкая группа туристов не посетит один из замечательных

городов мира — Ленинград.

Ознакомившись с городом-героем, городом-музеем, зарубежные гости посетят и паши пригороды — Петродворец, Павловск, Пушкин...

Но вряд ли кто из туристов посетит Всеволожский район. А ведь до Колтуш, где находится Институт физиологии имени И. П. Павлова, всего-навсего двадцать шесть километров.

Когда академика Ивана Петровича Павлова спросили, для чего ему понадобилась вышка на крыше института, он ответил:

— Я очень люблю смотреть вдаль!..

Думается, в этом ответе ученого заложен глубокий смысл. В часы отдыха или тяжелых раздумий он поднимался на свою вышку — и перед его взором разворачивалась изысканнейшая красота русской природы. Уходящее вдаль многоцветие холмов и заросших кудрявым орешником холмиков, полянок, украшенных коврами полевых цветов, островки белоснежных берез. А еще дальше, у горизонта, на необозримом пространстве синее лес. Он, с березами, соснами, елями, тянется до самого Ладожского озера, прозрачного, как первая весенняя капля дождя.

Давно ли эти леса были заселены их законными хозяевами? Семейства лосей, могучих и статных, не изменивших своего вида со времени каменного века, приходили на водопой к Коркинскому озеру. Было это совсем недавно.

Неожиданным взлетом выводки тетеревов пугали усердных грибников. По весне в этих лесах: пели свои тихие волшебные песни глухари, принадлежащие к древнейшему роду пернатых.

Вечером, перед заходом солнца, через полянки либо по опушкам и просекам, тянули вальдшнепы.

Сегодня — с болью в сердце! — читаю лишь в старом охотничьем справочнике: «В распадах между холмами и в низинках между поселком Колтуши и деревьями Хязельки, Канисты и Кирполье в великом множестве имеются дупельные засыпки, а также бекасы. На холмах близ деревни Канисты водятся серые куропатки».

О чем думал великий ученый, когда поднимался на вышку и смотрел вдаль? Вполне возможно, он размышлял, любуясь красотой своего края, о его недалеком и далеком будущем. О том, что зеленые болотца между холмиками будут осушены мелиораторами. Холмы вспашут и засеют полезными для человека злаками. Но мог ли он предположить, что кудрявый орешник, островки белоснежных берез и «бесполезный» ивняк будут выкорчеваны. А соловьи, столь дерзко распевающие по ночам свои песни, бекасы, дупели и всякие там куропатки будут вынуждены переменить свое местожительство.

Осмелится ли сегодня семейство лосей подойти на водопой к Коркинскому озеру? Оно со всех сторон окружено пионерскими лагерями.

Не думайте, дорогие читатели, что я неоправданно скорблю об ушедшей из этих мест дикой, но милой моему сердцу первозданной красоте, не болея душой за наше подрастающее поколение. В том-то и дело, что я первый возмутитель этой тишины природы. Беру на себя смелость заявить об этом. Ведь это я посоветовал построить первый пионерский лагерь в красивейшем месте на Коркинском озере.

Почему я это сделал? Потому что уверен: ощущение и понимание красоты закладывается в человека с детских лет. «Пусть, — думаю, — ребята учатся видеть и понимать прекрасное, чтобы стали настоящими людьми!»

Разумеется, никто из здравомыслящих людей не станет необоснованно протестовать и против расширения посевных площадей. А разве плохо, что в ста метрах от деревни Канисты расположились меж холмов совхозные парники? В них круглый год выращивают для ленинградцев и сельчан овощи. Все это так и должно быть.

Беда, как мне кажется, заключена в самом человеке. Безусловно, говоря об этом, вовсе не намерен хулить человека вообще. Нет! В данном случае хочу совершенно конкретно поговорить о людях, которые, с моей точки зрения, духовно обнищали, утратили способность самосовершенствования. О людях, преисполненных величайшего цинизма в отношении к природе. О тех, кто утратил чувство человеческого достоинства и любовь к своему Отечеству.

Да, это так! Только не любя землю, свою Родину, можно так беспощадно уродовать, губить природу.

«Робинзон» и «Пятница»

Люблю ранним утром полюбоваться зарей, подышать прохладным настоем лесного воздуха, пообщаться с тихим озером.

Миновав холмы и деревню Коркино, выхожу на просеку, намереваясь кратчайшим путем поспеть к берегу озера. А утро действительно выдалось тихое, ясное, лишь изредка покрикивает сорока, предупреждая лесных обитателей, что по лесу идет человек.

Невольно останавливаюсь у кузницы дятла. Она старательно выдолблена в старой сосне. Присев на корточки, внимательно изучаю обработанную клювом лесного мастера еловую шишку. Задумываюсь об удивительном трудолюбии этой красивой птицы.

Неожиданно мой слух привлекает звук топора. Неторопливые удары гулким эхом отдаются в лесу. Кто-то рубит дерево, и явно не сухостой. Высохшая сосна, ель или береза издают звук более глухой. А я слышу, как топор врезается в живой, напоенный соком земли ствол.

«Конечно же, это не лесник», — думаю я, а вскоре вижу нечто выходящее за грани поведения нормального человека. Совершенно голый субъект с нечесаной бородой и длинными спутанными волосами лениво и неумело рубит стройную кудрявую березу. Я много лет был знаком с этой красавицей. Она растет в центре небольшой полянки, в хороводе темно-зеленых хвойных подруг. Точнее — росла. Только и успеваю застать тот момент, когда березка со стоном падает на землю.

Молодой человек, срубивший дерево, напоминает Робинзона. Я когда-то играл его в первом художественном стереоскопическом фильме. Мы снимали картину на побережье Черного моря, в Чакве. Только мой Робинзон, помнится, ходил в козьих шкурах. А уж он-то вполне мог бы ходить и нагишом: жил на необитаемом острове.

Значит, это новый «Робинзон». Робинзон двадцатого века.

Вокруг его маленькой голубой палатки, рассчитанной на двух человек, валяются пустые консервные банки, обрывки газет, какие-то тряпки. А на пенечке красуется недопитая бутылка «коленвала». Здесь же — голова от селедки и кусок колбасы.

Поздно останавливать «трудолюбивого» молодого человека. И бесполезно: береза уже убита. Зарублена жестоким топором моя нежная зеленокудрая красавица.

Вдруг голубая палатка зашевелилась. Из нее донеслись приглушенные хриплые звуки магнитофона.

«Так-так, — думаю. — Все ясно. Значит, в палатке сидит «Пятница».

Через несколько секунд полотнище, прикрывающее вход в жилище «Робинзона», приподнимается, и из-под него появляется голова «Пятницы»... Правда, «Пятница " — не он, а она!

И вот она, «Пятница», вылезает на четвереньках. Вылезает в костюме Евы. «Пятница», как и новоявленный «Робинзон», абсолютно голая!..

Ощущение, будто, подглядываю в замочную скважину. На душе становится так мерзко, словно наткнулся на что-то гадкое. Быстро шагаю в обратном направлении, к дому.

Утро становится для меня мрачным.

«Немножечко сердечного тепла»

Выбираем натуру для съемок фильма «Снегурочка». Отлично понимаем, что величие и сказочная красота природы играют очень важную роль в сказке А. Н. Островского. В кинематографическом же решении этот важнейший элемент должен быть еще более впечатляющим.

«Поэтический рассказ о гармоническом слиянии человека и природы, думаю, обязательное условие для ощущения полноты и радости жизни. Труднейшую задачу воспитания чувства можно и должно решать приобщение ем человека к прекрасному! А что может быть прекраснее самой природы?

Пусть человек через природу познает добро, учится у нее быть красивым и мудрым. Пусть полюбит землю, дающую хлеб. Пусть прислушивается к пению соловьев, радуется, страдает и влюбляется в жизнь!»

Сказка о красоте могучей, вечно обновляющейся природы и в то же время о человеческих чувствах настоятельно требует от создателей фильма соответствующей натуры.

Художник картины Алексей Федотов и оператор Александр Чиров не случайно выбирают для этой дели именно Всеволожский район.

Неподалеку от поселка Воейково сооружается «катушка». Так в старину называлась ледяная горка, освещенная пылающими смоляными бочками. На ней добрые и чистые сердцем берендеевцы совершали свой ежегодный обряд — проводы масленицы. На такой горке они радостно пели:

Масленица-мокрохвостка,
Поезжай долой с двора,
Отошла твоя пора!
У нас с гор потоки,
Заиграй овражки,
Выверни оглобли,
Налаживай соху!
Весна-Красна,
Наша Ладушка пришла.

Скажу с уверенностью: эта сцена в фильме получилась одной из лучших. В киносказке почти девяносто процентов материала отснято на натуре. Из этого — половина под Ленинградом и столько же на родине «Снегурочки», в имении Островского

Щельикове Костромской области.

Именно там, у зачарованного бора, на берегу тихой речки Меры и родилась жемчужина отечественной драматургии «Снегурочка». Природа вдохновила А. Н. Островского на создание этого поэтического произведения.

Вот почему там же, на берегу речки Меры, и была построена ленфильмовцами заречная слобода Берендеевка. Ныне она бережно перенесена в Кострому и стоит там в своей первозданной красоте.

Мое детство проходило в постоянном общении с природой. Вероятно, поэтому мне так милы и дороги поля и леса, восходы и заходы солнца, голубое небо и грозовые тучи. И в нежном шелесте камышей, и в раскатах грома мне всегда слышится дивная музыка.

Очень люблю бродить по лесам и болотам с ружьем или в холодный осенний день пробираться на лодке через пожелтевшие камыши. И не потому, что мне непременно надо подстрелить красноносого крохаля. Пусть он летит своей дорогой! С меня достаточно и того, что увидел птицу в полете.

Мне по душе встреча с морозом и пургой. Пусть ветер поет свои песни, бросает в лицо колючие охапки снега. Мне радостно оттого, что борюсь с ним, понимаю его песни!

По сердцу мне и в сказочной красоте молчаливый, зеленый лес, как в «Снегурочке» Александра Николаевича Островского:

Леса стоят безмолвны, под снегами
Опущены густые лапы елей,
Как старые, нахмуренные брови.
В малинниках, под соснами, стеснились
Холодные потемки; ледяными
Сосульками янтарная смола
Висит с прямых стволов. А в ясном небе
Как жар горит луна и звезды блещут
Усиленным сиянием. Земля,
Покрытая пуховою порошей,
В ответ на их привет холодный кажет
Такой же блеск, такие же алмазы
С вершин дерёв и гор, с полей пологих,
Из выбоин дороги прилощенной.
И в воздухе повисли то же искры,
Колеблются, не падая, мерцают.

Родная русская природа! Сколько благородных, возвышенных поэтических образов ты щедро даришь нам, рождаешь в наших

сердцах! Сколько раз, как добрая мать, ты терпеливо выслушивала нас, давала мудрые советы, придавала сил для жизни даже в самые тяжкие минуты!

Так неужели нам, твоим благодарным сыновьям и дочерям, не понять и не спасти тебя?!

Гроздь красной рябины

Обойтись в этой книге без воспоминаний о своей последней по времени поездке на Урал нельзя. Да, родился я в городе на Неве. Но там, в деревне Амур и селе Бикбарда, прошли мои первые годы жизни, первые школьные годы, первые спектакли на истинно народной сцене и для народа. Эта поездка волшебными лучами воспоминаний вдруг осветила всю мою жизнь. Как же не рассказать вам об этом?

Сделать это необходимо и по другой причине. В своих письмах вы настойчиво спрашиваете: «Так как же стать артистом?», «Правду ли говорят, что все предрешено судьбой — надо лишь родиться талантливым или способным?», «Неужели вам, деревенскому мальчишке, легко было поступать в театральный институт?», «Говорят, у вас на пути артиста не было больших трудностей, сомнений, разочарований. Так ли это? А если были, то какие?»

Могу ли я не ответить на эти — так понятные мне! — мучительные вопросы вступающих в большую жизнь юношей и девушек? Тем более, что и многие взрослые, знаю, считают, что Павел Кадочников, как говорят, родился в рубашке, почти готовым артистом и поэтому легко пошел по жизни, не зная ни забот, ни печалей.

Вот почему я сознательно почти в конце книги говорю о моей родной Бикбарде, гроздь красной рябины которой всю жизнь ношу в своем сердце, рассказываю о первых годах учебы и работы после возвращения в Ленинград, вспоминаю удивительно чистых, талантливых людей, без которых не стал бы я ни артистом, ни режиссером, ни человеком.

О маме моей надо рассказывать языком поэзии.
Когда слышу слова песни:

Если б в шутку ты спросила,
Я ответил бы всерьез,
Что на свете нет красивой
Золотых твоих волос, —

мне кажется, что это о ней сложил песню папа.
Когда мама причесывалась, соседка ей часто говорила:
— Грушенька, волосы-то у тебя просто золотые!
И они действительно были у нее как золото. Не волнистые, не курчавые, но удивительно густые и очень золотые.
Помню, как-то спрашиваю ее:
— Мама, а почему у тебя волосы такие... с какой-то золотинкой? Я твоего брата, дядю Егора, знал. Он ведь не такой.
А она отвечает:

— Я в отца своего, в твоего дедушку Ваню. Ты его не видел никогда и не знаешь. А его вся деревня звала Рыжик. Он был золотой. И прозвище у нас было — Рыжиковы. Я Иванова только потому, что моего отца Иваном звали. Тогда фамилии по отцу давали. И в паспорте я — Иванова.

И правда: сколько бы ни всматривался в волосы мамы, они мне всегда казались золотыми. Так и хотелось до них дотронуться!

А как мама пела народные песни! И по сей день слышу ее чистый-чистый, как колокольчик, голос. Разливистый, красивый, нежный, он действительно разливался, как вольная, светлая реченька, и на чистой ноте удаляясь, поднимался высоко-высоко и сливался, как зеркально-спокойная река с отраженным в ней голубым небом.

«Сказка — ложь, а песня — быль», — говорила мама. Кладезь ее пословиц, поговорок, крылатых слов, казалось, был бездонным. Из него же черпала она и свои песни.

Вдумаемся в смысл этих двух слов: «песня — быль». Да, в песне народ рассказывал о своей судьбе, в песне выливались его боль и радость. Песней мама изливала свою душу. К несчастью, радостей в ней было так мало!

Не знаю, что привело ее, крестьянскую девушку Груню Иванову, из деревни Поддубье Тверской губернии в столицу

России. Знаю только, что всю жуткую суть исконно русского слова «намаялась» она испытала в полной мере.

Прислуга, кухарка, прачка... Все это — моя мама в свои молодые годы. Не чуралась она самого тяжелого труда. По силам ее крестьянским рукам была эта работа. Не могла вынести она другого — оскорблений, унижений человеческого достоинства.

Словно в искупление вины, город на Неве познакомил ее с таким же красивым, как и сама она, молодым человеком, а вскоре и обвенчал их. Казалось бы, жить да радоваться.

Но в год моего рождения тяжелая болезнь вынудила отца оставить дом на улице Зодчего Росси и добираться вместе с семьей от Невы до Урала.

— Что ж, к крестьянскому труду не привыкать, а твое здоровье мне дороже всего, — рассудила мама.

И все мы приехали на родину отца.

Сколько счастливых надежд связывала мама с деревней, куда вскоре тоже пришла Великая Октябрьская революция!..

А там — гражданская война. Мама проводила отца воевать против колчаковцев, и все заботы о нас навалились на нее.

Маленький был, а хорошо помню: на масленицу приходит к нам в Бикбарду из соседней деревни Амур дедушка Петроградский. Так звали моего двоюродного дедушку Егора за то, что он четверть века прослужил старостой армянской церкви в городе на Неве. Человек добрейшей души, он пришел к нам, как всегда в этот праздничный день, с гостинцами и спрашивает маму:

— Ну как, Грушенька, тебе живется?

А она слова не в силах сказать. Уронила голову на его плечо, и вижу, как плечи ее судорожно вздрагивают.

— Ты не плачь, ты терпи, — утешает ее дедушка. — Христос терпел — и нам велел. Вернется твой Петенька. Поверь мне, вернется, голубушка.

Легко сказать: «Терпи». А как терпеть-то, когда на всю семью у мамы был единственный незаменимый помощник — конь Пегашка, да и того какой-то ретивый «защитник» народа силком свел со двора.

— Без коня нам не выжить, — решила мать и следом за Пеганткой.

— Не губи себя, Агриппина Ивановна, — отговаривают ее встречные сельчане. — Неужели к самому командиру идешь?

— К самому.

— Да зверюга он зверюгой. И порог не даст переступить: застрелит у входа. Одумайся!

Но мама не только переступила порог штаба, но и выпалила в

глаза все, что она думала об этом командире:

— Это что же еще за такой «защитничек» трудового народа объявился? Кто тебе дал право единственную лошаденку-кормилицу у детей отнимать? Ты кого грабишь? Как ты посмел обречь на гибель детей, изверг рода человеческого?!

Извинился он перед мамой и вернул Пегашку...

После страшных, нечеловеческих испытаний войны возвратился отец. Он был истощенный, больной, и мама еще долго выхаживала его, брала на себя всю тяжелую работу.

Шли годы. Пришла пора идти в школу. Не забуду, как провожала меня мама в первый класс. Запомнились и новенькие легкие лапоточки, и рубашка-косоворотка, и пестрядиновые портки, и школьная сумка из той же ткани. А главное — взгляд мамы. Так ласково, тепло и с такой надеждой может смотреть только мать на свое кровное и любимое существо!..

Папа выздоровел и снова привез нас в город на Неве.

— Теперь-то уж вздохнем, поживем в радость! — улыбалась мама.

Но судьбе словно угодно было испытать, сколько же горя, мук, лишений может вынести эта тоненькая, как былинка, женщина с золотыми прядями волос и нежноглубокими глазами.

Великая Отечественная...

Для меня и сегодня кажется чудом, откуда взяла мама столько сил, чтобы пережить холод, голод, бомбежку, обстрелы, смерть нашего отца, девятьсот дней и ночей блокады, тяжелейшую хирургическую операцию, ампутацию ноги...

Как-то после войны она, тяжело вздохнув, запела:

Нам бы жить с тобою рядом.

Делать вместе каждый шаг...

«Это свою сокровенную мечту поет мама, — подумалось. — Как несправедливо и жестоко разбросала судьба моих родителей по разным берегам!»

Потом услышал ее новый вздох-песню:

Все ждала и верила

Сердцу вопреки.

Мы с тобой два берега

У одной реки.

И снова подумал: «Сказка — ложь, а песня — быль». Это она свою быль и боль мне поет-рассказывает».

Действительно, ее жизнь с моим отцом так похожа на жизнь двух берегов реки. Только река эта редко была спокойной.

Когда слышу слово «мама», произношу его, думаю о ней, вижу ее чаще всего не в адском водовороте войны и не на больничной койке. Вижу свою маму, вспоминаю о ней с самого далекого детства.

Мама... Слово-то какое!

«Ма-ма», — первое разумное слово произносит младенец, начиная осмысливать жизнь.

С этого слова для каждого из нас начинается Родина. Не случайно же эти два понятия слились в одно слово, в один образ — Мать-Родина.

— Ты стал вспоминать маму по десять-пятнадцать раз на дню, — с добродушной улыбкой замечает жопа.

— Может, и больше, — отвечаю.

И часто, вспоминая мать, вижу: она идет с серпом по полю, красивая молодая женщина, с золотыми распущенными волосами, светло улыбается. В глазах ее отражается голубое небо вместе с жаворонками. Да и сама она поет-заливается жаворонком. Мама мне кажется идеалом красоты и таланта. Пытаюсь робко ей подпевать. Учусь у нее взять такую же чистую, звонкую, разлиvistую ноту. Наконец-то мне это удастся!.. И вот уже мама, затаив дыхание, ласково, удивленно, с гордостью смотрит на сына и слушает, как я соревнуюсь в песнях со звонкоголосыми крылатыми артистами:

Вижу в небе жаворонка,
Слышу трели соловья...
Это — русская сторонка!
Это — Родина моя!

А Коля идет рядом, тоже слушает. Он стесняется петь, но вижу, как с гордым видом он окидывает взглядом поле, небо, солнце и губы его сами выводят-повторяют:

Это — Родина моя!

И не потому ли так больно мне было видеть в годы войны мою истерзанную, но гордую Родину? Не потому ли сжималось сердце при одной мысли, что в блокадном Ленинграде на головы моих родителей обрушиваются фашистские снаряды, бомбы, голод, холод, болезни, смерть? Не потому ли так стремились на фронт и мой старший брат Коля, и я, и мой Алексей Мересьев в

фильме «Повесть о настоящем человеке»? Не потому ли с такой решимостью и ненавистью в «Подвиге разведчика» мой Алексей Федотов открыто бросает в лицо гитлеровскому генералу фон Кюну:

— Вам трудно в это поверить, так же, как понять, почему советские люди, даже дети, которых вы ведете на виселицу, плюют вам в лицо и умирают со словами «Да здравствует Родина!».

Фашисты хотели лишить мою Родину, мою маму, отца, сестру, брата, меня, миллионы таких, как мы, права на жизнь. В их планы входило полное уничтожение Москвы, Ленинграда, других наших городов и сел, деревень. Но мы выстояли.

Мое Отечество будет всегда жить, процветать, а люди будут совершенствоваться, потому что народные истоки бьют из родников светлых, чистых сердец таких людей, как мои отец, мама, как миллионы людей моей прекрасной Родины, которую я люблю, как мать.

Живо представляю ту давнюю золотую осень.

Из Амура в Бикбардинскую школу идут первоклашки. Да что там идут! Под горку, к речке, они бегут сломя голову. С шумом, гамом, хохотом на бегу подбрасывают ногами душистые листья и на лету ловят их — красные, желтые, оранжевые...

Как хочется и сверстнику их, Пете, кого-то обогнать или хотя бы не отстать от них, по он отродясь еще не сделал в жизни ни шагу: ноги висят как плети. А как хочется ему наклониться и взять вот этот, самый большой и красивый, оранжевый лист! Но и этого Петя сделать не может: он сидит высоко на плечах отца.

— Куда ото вы с сыном, Никифор Николаевич? — любопытствуют сельчане.

— Как это «куда?» — отвечает бородач. — Куда и все дети — в школу.

А во второй половине дня его тоже видят на этой дороге. Только идет он уже в Амур и несет сына из школы.

И так изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. На людях он никогда не жаловался на судьбу, сурово пресекал жестокие насмешки над ним и его сыном несмышленных ребят, утешал Петю и делал вид, что ему не составляет труда ежедневно дважды отмерять широкими шагами этот более чем двухверстный путь.

Лишь когда дети обгоняли его и исчезали за поворотом, когда рядом не оказывалось никого, сын видел, как отец, тяжело вздыхая, крестился и призывал на помощь небо, солнце, лес, мать-природу, умолая: «Господи, за что ты мне ниспослал такое наказание? Милосердный, прости меня грешного и помилуй. Оживи ты моему Петеньке ноги! Молю тебя — оживи!..»

И чудо произошло! В один прекрасный день ноги Пети Кадочникова действительно ожили, он и впрямь стал обгонять одноклассников, мог наклоняться и долго рассматривать прожилки оранжевого листа, белые лепестки ромашки, летучие зонтики пушистика — одуванчика...

Видно, поэтому мой отец обожествлял лес, верил в магическую силу солнечных лучей, голубых небес, природы. И эта вера отца была очень сродни вере берендеев в Ярилу — Солнце из «Снегурочки» — этих удивительно добрых, чистых душой лесных жителей, древних славян.

Учился отец прилежно. Он пытался приобщиться к городской жизни, и со свойственной его натуре жадой справедливости и свободы всегда оказывался в самом центре городских событий.

После приезда в Петербург отец окончил техническое училище и работал вначале станочником на заводе, а потом артельщиком с золотых дел мастерами, заведовал продовольственным складом на железной дороге.

Заболев туберкулезом, отец за два года до Октябрьской революции переезжает в родной край, свято веря в исцеление природой. Как радовался он, что земляки приняли его семью дружелюбно и даже избрали председателем союза охоты Бикбарды и Амура!

Обычно охотники собирались в нашем доме вечером. Это были здоровые, кряжистые бородатые мужики, деловитые, немногословные. Особенно хорошо мне помнится папин друг Гайныша. Он мне казался главным охотником. Может, так это и было.

Гайныша знал, что и где лежит в нашем доме. Он приносил из чулана на могучих своих плечах мешок, наполненный морожеными пельменями, и ставил их в сенях у двери.

Мама большими порциями закладывала их в огромный чугунок с кипящей водой и ставила в русскую печь. Когда пельмени были готовы, мама шумовкой доставала их из чугуна и раскладывала в деревянные миски, а Гайныша расставлял их перед охотниками.

Охотники по «скусу» заливали пельмени красным уксусом, сдабривали перцем, и начиналось насыщение. Упаси бог, если кто-то тайно или явно позволял себе выпить или принести с собой спиртное. Такого горе-стрелка отец сразу же отправлял до дому, до хаты.

Ели молча, до отвала, распуская пояса. Потом пили чай из пузатого самовара. Так делали всегда, потому что потом, во время охоты, перекусить времени уже не было.

Мы с братом Колей очень любили смотреть с полатей на все эти приготовления. Я буквально не спускал глаз с Гайныши. Мне казалось, что он был сделан из дуба. Будто взял кто-то топор и вырубил из него человека.

Вдоволь нахлопотавшись, Гайныша садился на лавку, пододвигал к себе огромную миску, наполненную дымящимися пельменями, и говорил:

— Моя теперь маленько ашать будет.

«Ашать» — по-татарски есть. «Ашал» Гайныша с завидным аппетитом: миски три, а то и больше, горячих пельменей «проваливались» в Гайнышу так быстро, что даже хорошо впавшие его охотники начинали добродушно ухмыляться:

— Нелегко, видать, бабе твоей прокормить тя, медведище?

— Суседи бают, из-за нехватки харчей Гайныша по ночам-ту заднюю лапу сосет.

Все громко смеялись, а Гайныша громче всех, поблескивая белоснежными зубами.

Как только через замороженные окна начинал брезжить рассвет, во дворе и у ворот собирались загонщики. Многие ждали прямо в розвальнях, запряженных маленькими лохматыми лошаденками. Заиндевевшие, они нетерпеливо перебирали копытами.

Платили загонщикам не очень много. И тем не менее собиралось их до шестидесяти человек — и молодых, и старых. Но больше всего было школьников, у которых в воскресный день появлялась возможность заработать на карандаши и тетрадки.

Промысловые загоны были в этих краях не так уж часты. Нам, ребятишкам, доставляло неизъяснимое наслаждение пробираться сквозь чащу леса, по пузо утопать в сугробах, трещать специальной загонной трещоткой, шуметь в тихом лесу, будить его ото сна — и ощущать свою полезность в серьезном деле.

Но еще больше мы любили с братом, когда отец брал (так напечатано в тексте!) ского пруда, в паргу.

Слово «парга» имеет свою довольно забавную историю. Вот как рассказывал об этом отец. Помещику Аносову было угодно поставить на речке Бикбардинке мельницу. Для него и соорудили плотину с вершниками-воротами. А на плотине, длиною более версты, были посажены липы.

Речка Бикбардинка остановилась, разлилась вширь, затопила луга, добралась до возвышенности, густо заросшей пихтами, и превратилась в красивое озеро протяженностью в четыре версты и в полторы версты шириною.

В девственном пихтовом лесу Аносов разбил парк, прорезал аллеи, поставил беседки, на берегу построил купальню. По озеру катались на лодках и даже на небольших яхтах. Но для бикбардинцев слово «парк», видимо, показалось трудно произносимым, и они его стали называть «парга».

Прошли годы. Аллеи заросли, беседки отжили свой век, о купальне напоминали только позеленевшие остатки свай, а слово «парга» живет и сегодня. Правда, мало кто знает сейчас, почему эта часть пихтового леса так называется. В этом я убедился после последней поездки в Бикбарду.

И вот более чем через полвека я снова в этих краях и не могу оторвать взгляда от парги. Мороз, снег, озеро покрыто льдом, а я смотрю на берег, и теплеет на сердце от воспоминаний о том счастливом лете, проведенном вместе с отцом и братом.

...На закате солнца, когда озеро превращалось в рубиновую гладь, мы оставляли у берега парги свою плоскодонку, разводили костер, ели душистую уху из нескольких сортов рыб. Обычно это

были линь, налим, крупная сорога, щука, окунь... Потом отец укладывал нас на толстый войлок, разостланный на камыше, накрывал тулупом, и мы блаженно засыпали.

Пока шли приготовления к ужину и сну, велась неторопливая беседа у костра. Отблески его пламени играли на могучих ветках пихтача, а где-то в камышах глухо стонала выпь.

— Пап, а пап, — шепотом говорит брат, — слышишь, как души усопших стонут?

— Чего? — удивленно вскинув брови, отвечает отец. Он даже перестал чистить рыбу. — Кто, говоришь, стонет?

— Души, говорю, стонут.

— Кто это тебе сказал?

— Бабушка Тарутина сказала: когда красные с колчаковцами бились, дак многие без покаяния похоронены.

— Ну-ну, рассказывай, — улыбается отец.

— Вот ихни души теперь и стонут.

Отец весело хохочет, гладит брата по стриженной голове.

— Выпь это стонет, выпь! Птица такая болотная есть... Ночь-то ей одной тоскливо в камышках сидеть, вот она товарища и зовет к себе. А ты — «души».

Утро отец всегда встречал стихами Никитина. Это был своеобразный ритуал.

Мы с братом еще поеживались под тулупом от утреннего холодка у потухшего костра, а отец уже стоял на пне и читал стихотворение Ивана Никитина «Утро»:

Звезды меркнут и гаснут. В огне облака.
Белый пар по лугам расстилается.
По зеркальной воде, по кудрям лозняка
От зари алый свет разливается.

Полуоткрыв рты, затаив дыхание, мы слушали... Нам казалось, что отец по утрам на некоторое время превращается в доброго волшебника. Ведь все, о чем он так складно говорит, сбывается на наших глазах:

Дремлет чуткий камыш. Тишь — безлюдье вокруг.
Чуть приметна тропинка росистая.
Куст заденешь плечом — на лицо тебе вдруг
С листьев брызнет роса серебристая,

И мы с Колей, откинув тулуп, уже сидим на войлоке, обхватив колени, и ждем, когда отец скажет:

Потянул ветерок, воду морщит-рябит.
Пронеслись утки с шумом и скрылись,

И утки, словно от волшебных слов отца, действительно с шумом проносятся рядом!..

Теперь отец смотрит на нас, глаза его смеются;

Далеко-далеко колокольчик звенит.
Рыбаки в шалашах пробудились...

Конечно, пробудились: мы не спим, протираем кулаками глаза и сладко потягиваемся на войлоке. А отец уже дочитывает стихотворение:

Едет пахарь с косой, едет — песню поет,
По плечу молодцу все тяжелое...
Не боли ты, душа! отдохни от забот!
Здравствуй, солнце да утро веселое!

— Здравствуй! Здравствуй! — вопим мы, быстро срываемся с места и, не сговариваясь, бежим к позеленевшим сваям бывшей купальни умываться.

— Ашать будете, бесенята?

— Ек! — отвечаем по-татарски.

— Ну, тогда пожитки в лодку и айда щук с жерлиц снимать да «морды»-плетенки трясти: небось линей в них понатыкалось за ночь-то.

И вот мы в густых зарослях шумящего камыша. Отец с трудом вытаскивает за кол сплетенную из ивовых прутьев ловушку, которая похожа на большую бутылку или чернильницу-непроливайку. Он держит ее у борта лодки, пока не стечет вода. Чуть ли не половина плетенки забита трепещущей рыбой.

— У-ух, сколько! — спешим вытащить из горловины ловушки соломенную пробку, — и в лодку валятся золотые, словно полированные линии, сверкает серебром сорога...

Мне очень хочется поддержать в руках скользкого, отливающего золотом линя, но удержать его невозможно: он выскальзывает из рук.

— Не трогай, Палька! Недосуг баловаться, — серьезно говорит брат. — Нам еще три штуки вытащить надо, да щук снимать.

С неохотой оставляю в покое линя.

Отец направляет плоскодонку через камыши к следующему колу и говорит:

— А ну, Павлик, повторяй за мной: «На реке мы лениво налима ловили; для меня вы ловили линя. О любви не меня ли вы мило молили?..»

Я путаюсь в скороговорке. Вместо «налима» говорю «малина». Отец и брат весело хохочут. Хохоchu и я.

Может быть, окутанные дымкой времени, картинки моего детства кому-то и не покажутся столь значительными, чтобы их воскрешать в эмоциональной памяти. Для меня же они нечто такое, что приоткрыло двери в мир прекрасного. И если я в какой-то мере понял не только разумом, но и сердцем, что такое восходы и заходы солнца, нежный шепот камышей и свист ветра, и что такое «вологодские кружева», брошенные морозом на окна, и для чего человеку необходимы стихи, то обязан я этим моему отцу, носившему в себе удивительный мир художника.

Сегодня мне думается, что общение с зорями в парге, с природой, поэзией отцу было необходимо и для того, чтобы забыться — пусть хоть на миг — от кошмаров пережитого, от чего он бредил, вскрикивал во сие, чего не в силах был забыть всю жизнь.

В гражданскую войну колчаковцы захватили Бикбарду, арестовали отца как члена комитета бедноты, избили, бросили в броневик и трое суток держали в этом железном панцире без глотка воды, пищи, света. Можно представить, как сельчане уважали и любили отца, если, не страшась смерти, они доказали головорезам, что член комитета бедноты — выборное, неприкосновенное лицо и потому подлежит немедленному освобождению! Боясь народного гнева, отца освободили. Но — как?

— Лязгнула крышка люка, — рассказывал отец. — И меня выволокли из броневика. В глаза больно ударил свет. Показалось, ослеп от темноты, никого не вижу. Постоял немного, шатаюсь. Бросили меня в глубокую телегу, по углам сели четыре солдата и молча повезли. Привозят в лес. «Ну, все, — думаю, — привезли расстреливать». Выволокли из телеги, приказывают: «Иди». «И не оглядывайся!» — добавляют. Сделал шаг и думаю: «Сейчас грянет выстрел...» Еще шаг, еще, а мысль: «Ну, вот, сейчас, сейчас...» У меня, как говорят, горела спина от мысли: этот последний шаг или — этот?.. Оглянуться не имею права. Вот опять иду... И сам удивляюсь, что еще иду... Шаг, еще шаг, еще... «Когда же раздастся выстрел?! Скорей бы уже!..» И вдруг загремела колесами телега, невольно оглянулся и вижу: телега вместе с моими мучителями уходит от меня!.. Не верю себе, «Значит, меня

не расстреляли? Отпустили?..» Я прошел еще несколько шагов и упал от изнеможения...

Позже белогвардейцы вновь взяли в плен отца, на допросах жестоко избили и в Красноярске тяжело больного сыпным тифом бросили в покойницкую. Когда же красные освободили Красноярск, то в покойницкой среди трупов его земляк Илья Иванович Зверев заметил еле живого человека. Им оказался Петр Никифорович Кадочников!..

...В третий раз пришла за отцом смерть в блокадном Ленинграде. Видно, его полное изнеможение в те дни можно было сравнить только с пребыванием в покойницкой Красноярска в годы гражданской войны.

О тяжелом физическом состоянии отца я сразу же догадался по дрогнувшему почерку, которым он писал мне письма в Анжеро-Судженск. Только близкое дыхание смерти могло так обезобразить его всегда красивый и уверенный почерк.

И — что удивительно! — даже в это предсмертное время отец не утратил веры в магическую силу искусства и природы. Самым последним его желанием в блокадном Ленинграде было побывать в лесу, посмотреть на деревья, на небо, подышать родным воздухом.

Мои корни

Для меня каждое время года имеет не только цвет, но и запах, вкус. С детских лет весна связана у меня с ароматом березового сока. А все — дедушка Егор. Он впервые в жизни напоил меня этим целебным напитком природы.

— Павлуша, — помню, окликнул меня дедушка недалеко от Бикбарды на рыбалке, — пока мы здесь, на берегу, возимся, я напою тебя березовым соком. Хочешь?

— Хочу, — отвечаю, еще не зная, что это такое.

Дедушка подводит меня к березе, достает из кармана железяку, похожую на разрезанную вдоль трубочку, слегка наживляет белую кору, осторожно вводит в нее кончик чистого желобка и тихо, словно боясь спугнуть волшебство, шепчет:

— Терпение...

С удивлением вижу, как по желобку, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее сбегает в горлышко бутылки одна за другой чистые, как росинки, капли. От яркого весеннего солнца они горят и, разбиваясь о стекло, разлетаются, кажется, не брызгами, а искрами.

Терпеливо жду, когда дедушка разрешит глотнуть это лесное чудо... или хотя бы лизнуть кончиком языка.

Наконец наступает этот миг, и я с наслаждением пью, как говорит дедушка, божественный напиток. Он и по сей день мне кажется действительно божественным, ни с чем не сравнимым!

Видно, потому я так и люблю природу, что впитал ее, в прямом смысле слова, вместе с березовым соком.

Доброта дедушки Егора щедро питала всех нас, а ему в этом помогала сама природа. Да, это тот самый Егор Николаевич, что долгое время прожил в городе на Неве, служил в армянской церкви. За усердие и трудолюбив на пятнадцатом году службы получил повышение и еще десять лет в этой же церкви на Невском проспекте был старостой.

Возвратясь под старость в свою родную деревню Амур, дедушка занимался только рыбалкой и своим маленьким огородом. Его очень любили деревенские мальчишки: он был тихим, добрым, ласковым.

А разве забудешь его постоянную заботу о маме и обо всех нас! Бывало, придет, принесет маме налима или щуку и спросит:

— Ну, как Агриппина, о Петре слышно ли чего?

— Да говорят... вроде бы к весне обещают отпустить.

— Вот видишь, — искренне радуется дедушка. — А я что тебе говорил? Надо только терпеть и ждать.

— Да говорят еще, будто не в себе он после... — и мама прикладывает к глазам передник.

— Это после того, как с мертвяками-то долежал? Э, брось! Мертвенькие, они ведь тихие, никого не обидят. И Петру твоему ничего не сделали. Ты не реви. Вернется, одумается, опять человеком полезным станет.

А однажды дедушка Егор принес мне с братом сплетенные из ивовых прутьев мережки. Он сплел их с учетом ребячьих сил — маленькие.

— С вечера в камышики поставите, — говорил он ласково, улыбаясь, — а утречком, глядишь, и рыбка на ущицу.

Как же мы радовались с Колей этому подарку и как благодарны были доброте и заботе о нас!..

Когда в Бикбарде звонил большой колокол, призывая к вечерне, дедушка Егор оставлял все мирские дела и шел в церковь.

И мне, мальчишке, было как-то странно видеть, что за это недолюбливали деда Егора все его пять братьев. Особенно — мой дед Никифор.

— Лодырь он, Егорка-то, — ворчал мой родной дед, — сбаловался в городу-то. Все б ему только налимов ловить да в церкву ходить.

А если уж в кои веки к нам выбирался родной дед Никифор, мы с братом Колей либо пытались исчезнуть из дома, либо забиться в угол так, чтобы нас было не видно и не слышно. Дедка был глух, как тетерев на току, поэтому разговаривать было очень трудно. Приходилось кричать ему в самое ухо.

— Никифор! Чего не приходишь к нам? — громко кричала мама.

— Чо говоришь-то?

— Говорю, чего не приходишь к нам?

— А чо к вам приходиться-то? Чо у вас взять-то?

— Взять-то у нас, и верно, нечего. Да хоть бы на внучат-то своих посмотрел!

— Чо говоришь-то?

— На внучат, говорю, посмотрел бы!

— А чо на них смотреть-то? — так же громко кричал дед. — Гармoeды они у тебя, не хрестьяны. Небось опять погоду пинают. Чо ты их не бьешь? Их бить надо!

Если же кто-нибудь из нас нечаянно появлялся перед его глазами, од обязательно пошутит:

— Павлуха, подь-ка сюды: я тебе уши отрежу!

Почему-то не хотелось, чтоб мне резали уши, и я всеми силами старался избежать встречи с дедом.

Как-то мама рассердилась на него и в сердцах сказала мне:

— Ну и дед! До чего же он любит свою кобыленку, что даже ребятишек жаль покатасть в Бикбарде. Ведь масленица же идет!..

Не успела она договорить, как подъезжает дед Никифор. В кошеве у него много душистого сена. Собрал всех ребятишек, усадил нас в кошевку, на ароматное сено — и давай катать по Бикбарде. Радость ребят — не передать!..

Замечаю: если поднимаемся на горку, дедушка вылезает из кошевки и ведет маленькую, в инее — как сказочная сивка-бурка! — лошадку под уздцы; спускаемся под горку или едем по ровной дороге — он сидит вместе с нами.

Правда, удовольствие это длилось не очень долго. Покатав, дедушка говорил нам:

Ну и хватит. Справили масленицу-то.

Мы воробьями вылетали из кошевки.

И наш дедушка дарил маме какой-нибудь подарок, кряхтя усаживался в кошевку и возвращался со своей сивкой-буркой в Амур.

До чего же дедушка Никифор любил свою родную деревню!.. Едет, бывало, в кошевке по улице и вдруг останавливается:

— Тпру-у-у.

Берет витьень — витой кнут — и, не считаясь со своим преклонным возрастом, выбирается из кошевки и стучит ручкой витьеня в окно.

— Кто там? — слышится в ответ, и показывается заспанное лицо, взъерошенные волосы амурчанина. — А-а-а, Никифор. Чо надо?

— Хозяин ты непутевый — вот чо! — корит его мой дед. — Гли-ко, у тя канава травой заросла. Прибери ка-наву-то. Не позорь деревню и себя. Ты в Амуре живешь, а не где-то!..

Нет, не случайно деревня Амур с ее красотой и самобытным русским весельем вошла в мои кинокадры, хотя и запомнился мне этот уголок земли не только радостью и весельем. В неизменной любви к Амуру были едины все мои деды: и Никифор, и Егор, и Захар, и Илья, и Никанор...

Вспоминая дедушку Никанора, всегда вижу его у Гришкина омута.

Рано умерла у Никанора Николаевича жена, и осталась у него единственная радость — сын Гриша. Но как-то побежал Гриша ловить рыбу и... утонул в реке Солодов. С тех пор каждый вечер, пока был жив, приходил дедушка Никанор к этому глубокому месту. Придет, сядет на берегу на камень-дикарь, низко опустит голову, долго-долго смотрит в глубину и разговаривает, как с живым, с сыном.

Не забыть ярко-багровый закат и сгорбленного седого человека, идущего к речке. Все смотрим ему вслед, и женщина, приложив платок к губам, тяжело вздыхает:

— Ох, гли-ко: Никанор опять пошел разговаривать с Гришей.

Так и нарек это глубокое место народ: Гришкин омут.

Не раз и не два вспоминал я своего дедушку Никанора, работая над образами стариков нелегкой судьбы, на него похож и мой Вечный Дед в «Сибириаде».

Сегодня еще глубже понимаю и чувствую эту боль, когда иду вместе с женой к могилам своих сыновей.

«Время все сотрет», — говорят нам в утешение.

Все это неправда. Если в человеке есть великая сила любви, то боль утраты любимого существа не пройдет и не изгладится ни при каких обстоятельствах. Эту всегда открытую рану невозможно залечить ни успехом, ни народным признанием. Она всегда в сердце, всегда со мной. И мне ли не понять моего дедушку над Гришкиным омутом!..

Мои деды — мои глубинные корни. Они духовно питали моего отца, брата, сегодня питают сестру и меня. И хочу, чтобы волей, мужеством, жизнелюбием, красотой и радостью они всегда питали наших внучек, внуков и правнуков. Потому что в этих корнях вечная мудрость народа, его жизнь, молодость.

Недавно довелось побывать на своей второй родине в тридцатиградусный мороз. Видно, запасом здорового уральского воздуха, сердечной встречей земляков я и сегодня живу. Спасибо тебе, уральская зимушка-зима!

Но как же хочется и осенью, и летом, и ранней весной наведать родной лесной край!

Представляю, как подойду к той самой березе, к которой вел меня за руку дедушка Егор, низко поклонюсь ей за тот волшебный напиток и душевной песней попрошу новых сил для жизни и творчества:

Открой мне, Отчизна, просторы свои,
Заветные чащи открой ненароком,
И так же, как в детстве, меня напои
Березовым соком, березовым соком.

Верю, что даже сейчас, прожив долгую жизнь, от глотка березового сока родной земли смогу помолодеть. И не на один день.

Прообраз Поливанова

Когда я сказал Даниилу Александровичу Гранину, что в многосерийном телевизионном фильме «Картина» по его одноименному роману буду, пожалуй, играть своего родного дядю Саню, писатель очень возмутился:

— Никаких дядюшек! Вы будете играть Поливанова.

— Что могу сделать, — отвечаю, — если все созданные мною образы в кино и театре взяты из жизни, а ваш Поливанов так похож на моего дядюшку.

Когда же фильм был завершен и Даниил Александрович посмотрел его, он сердечно поблагодарил меня за правдиво созданный образ. Гранин не скрывал своего удивления, что характеры Поливанова и моего дяди Сани оказались так созвучны!

Лихим, бесстрашным красноармейцем запомнил я дядю с детских лет.

Помню, заезжал он к нам, на Урал, между боями, на своем пегом скакуне. Туго притянутое высокое седло, а в седле — наш дядя Саня. В большой овечьей шапке, а по диагонали шапки — красная лепта. Через оба плеча — ремни крест-накрест. На боку — большой пистолет и сабля. А конь под ним так и танцует, так и танцует!..

Дядя легко спрыгивал на землю с копы, распрягал его, и мы с братом Колей получали счастливую возможность «поскакать» в высоком седле. Едва дядя успевал снять седло с копы, как мы мгновенно забирались в него с братом и с возгласами «Но-о-о, поехали!» скакали с Колей на воображаемом коне во весь опор.

— Вот бы подольше дядя Саня обедал.

— Да-а-а, наскакаться бы вдоволь в седле! — соглашался я с братом.

И мы, громко прицокивая языком, подскакивая, продолжали «гарцевать».

Но дядя Саня, как всегда, спешил. Выпив кружку молока с горбушкой хлеба, сказав несколько слов матери, он уже снова собирался в дорогу.

Ему правилось наблюдать, как мы лихо «гарцуем» в седле. Он подходил к нам, с любовью шлепал по затылку и подзадоривал:

— Давай-давай! Но-о-о, поскакали!..

Быстро запрягая копы, ловким пружинистым прыжком влетал в седло, прощался с нами и благодарил маму:

— Спасибо, добрая душа, за хлеб-соль!

— Куда же ты? Опять воевать? Да когда же она кончится, эта

проклятая война?! — причитала мама.

А он ей с улыбкой в ответ:

— Не печалься, Грушенька! За великое дело воюем! Не зря же о нас сложили песню:

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим, —
Кто был ничем, тот станет всем!

Лихо заломив шапку и посадив ее молодежато набекрень, он брал с места галопом и уносился как птица.

О, как нам с Колей хотелось быстрее подрасти и стать такими же, как наш дядя Саня!

Потом уже, когда стали старше, с братом узнали, что Александр Никифорович Кадочников был одним из тех ленинцев, о которых народ действительно слагал песни.

Это он, наш дядя Саня, с такими же бесстрашными, как и он сам, большевиками в дни Великой Революции сбивал замки с дверей камер в петербургской тюрьме и выпускал на свободу безвинно томившихся за решеткой узников царского самодержавия.

Это он, Александр Кадочников, сразу же после победы Октябрьской революции в Петрограде, очертя голову метнулся на родной Урал, восстанавливал и защищал Советскую власть в Суюрке, Бикбарде, Амуре!..

Это он, самый младший брат нашего отца, вернувшись в Петроград, трудился в Зимнем дворце, чтобы дворец царей — наконец-то! — распахнул двери свои народу и стал одним из лучших музеев мира.

Ни одна война не обошла нашего дядю Саню. Точнее, он сам добровольцем уходил и на гражданскую, и на войну с белофиннами, и на Великую Отечественную. На последнюю войну дядю по возрасту не брали, но он с таким жаром отстаивал свое кровное право на защиту Отечества от фашистской нечисти, что строгая комиссия дрогнула и поставила его в строй действующей армии. Под стать Александру Никифоровичу был и его сын, погибший смертью храбрых в битве с гитлеровцами.

Иногда приходилось слышать от людей, казалось бы, хорошо знавших его, что Александр Никифорович Кадочников — военный человек едва ли не от рождения, а его естественная стихия — бесконечная война. Нет, это неправда.

Мы жили с дядей в одном доме и в Бикбарде, и в Ленинграде, многое вспоминалось, о многом размышляли, беседовали,

спорили. И вот что особенно запомнилось.

— Когда в Октябре вместе с товарищами брал винтовку, — говорил дядя Саня, — и шел на буржуя с песней:

Это есть наш последний
И решительный бой, —

я не кривил душой. Нам тогда действительно казалось, что бой тот — последний. И наша ли вина, что голову подняла контра?!

Когда под Суюркой громил колчаковцев, тоже думал, что бой тот будет последним и коротким. И разве наша вина, что в защиту белых поднялась Антанта?!

А Великая Отечественная? Разве мы ее начали? И разве мы не хотим, чтобы наш победный бой в этой войне остался в памяти человечества не только решительным, но и последним?

Этой его железной логике было не просто трудно — невозможно возразить. Дядя Саня был прав! И я глубоко верил ему еще и потому, что видел, как руки его тянулись к мирной работе, с какой любовью делали они все, за что ни брались. Видел, как в его умелых руках плотника, столяра-краснодеревщика в работе словно играли топор, пила, молоток, рубанок, стамеска.

Шкатулка из красного дерева в доме моего брата, конторка на моем письменном столе, удобные перила у крыльца дома моей мамы в Канистах — все это сделано дядей Саней.

Мастерить стулья, табуреты, строить дом было истинным наслаждением для Александра Никифоровича. И уж если говорить о том, чем больше всего он был наделен природой, так это даром строителя. Даром созидателя, а не разрушителя.

Но мой дядя Саня, так же, как и Поливанов, в молодости многое вынужден был ломать «до основания», как в той песне.

— И было не жаль? — спрашивал его я.

А он отвечал:

— Так громили мы не лачуги крестьян и рабочих, а барские хоромы. Должна же была в конце концов на земле восторжествовать справедливость!

И тогда я понял, что выше, священнее справедливости для дяди в мире ничего нет. Разве не чувство справедливости, страстная жажда справедливости, везде и во всем заставляли «воевать» его и в мирное время? Он вспыхивал, как порох, воспламенялся мгновенно, если замечал или ему казалось, что кто-то посягает или бросает тень на это священное право людей.

В таких случаях он, ветеран партии, забывал о своих болезнях

и возрасте, соби́рался, шел в исполком, райком. Если быстро не принимали мер, он в глаза говорил и председателю райисполкома, и секретарю райкома:

— Засиделись в мягких креслах? Чужие места занимаете? Гнать вас за такое безобразие надо в шею!..

Как это созвучно сегодняшнему времени, революционной перестройке! И сейчас дядя Саня был бы незаменимым бойцом. Он по праву относился не к тем людям, кого перестраивают, а кто сам перестраивает. Настоящий ленинец, он всегда был настроен на справедливость, никогда не позволял фальшивить ни себе, ни другим.

Помню, каким рассерженным он возвращался домой после «боев» с чинушами в мягких креслах.

Понимая его справедливое негодование, мама говорила отцу:

— Петр, слышишь? Опять наш Саня развоевался! Но он ведь не зря кричит-то, не зря. Люди-то по-разному живут: одни голодают, холодают, а другие... Вот и хочется ему, чтобы все люди хорошо жили. Понимаешь — все!.. И нервный-то он потому, что, видя эту несправедливость, с собой сладить не может. Такой уж он. Никому спуска не дает.

Что верно, то верно. На компромиссы с совестью дядя Саня никогда не шел, поблажек в этом не давал ни чужим, ни родным. Для всех нас он был взыскательной, недремлющей совестью. И прежде чем сделать что-то, мы нередко задумывались: «А как отнесется к этому дядя Саня? Не попадем ли мы случайно под его обстрел?» А обстрел он вел обычно из тяжелого орудия, и потому улары его были сокрушающими. Не раз приходилось ощущать их и на себе.

Выросший в селе, я скучал по природе. Постоянное общение с ней, считаю, естественное, необходимое условие развития и воспитания каждого ребенка. Выросла в деревне и постоянно тянулась к природе мама. После блокадных кошмаров, болезней, ампутация ноги ой так необходимы были деревенский покой и свежий, здоровый воздух! Словом, я мечтал о загородном домике.

Представлял, как на машине вывезу маму на каменных городских стен, привезу в сад, усажу под самую красивую яблоньку или перед раскидистым кустом крыжовника — только пусть как можно дольше она живет и радуется!..

Но не было еще ни машины, ни домика, ни средств на их приобретение. Поэтому мечты оставались мечтами.

Но вот после войны за фильмы «Подвиг разведчика» и «Повесть о настоящем человеке» я был удостоен звания лауреата Государственных премий, получил денежное вознаграждение и сразу же купил и машину, и недостроенный домишко под

Ленинградом. Когда же начал на небольшом приусадебном участке выкорчевывать старые пни, перекапывать на другое место валуны-дикари, сажать деревья и достраивать, а вернее сказать, почти заново строить загородное жилище, подумалось: «Не в моем характере запира́ть ворота на засов, а двери — на ключ. Всегда они будут распахнуты и для родных, и для друзей, и для товарищей. А их у меня столько!.. Каждого надо приветить, накормить, уложить спать. Значит, чтобы еще раз не перестраивать, дом надо сделать и шире, и выше, чтобы всем места хватило».

Только начал работу, навещает меня дядя Саня.

— Это чей же такой разжиревший конь, что едва в ворота входит? — покосился он недобрый взглядом на поблескивающую на солнце новенькую автомашину.

— Мой! — отвечаю с гордостью.

— Так-так, — неодобрительно крикнул дядя Саня. — И как же ты его зовешь? Небось не Пегашкой?

— «Волга» это, дядь Саня. Настоящая «Волга», машина лучшей марки!

— Ага, значит, «Волгу» купил? — слегка повысил он голос.

— Что же в этом плохого?

— Вон оно что-о-о. Ты уже в этом не видишь ничего плохого?.. И в этом тоже? — показал он на фундамент дома.

— Будет обычный деревенский домик.

— Да какой же это домик?! — вне себя от ярости вскричал Александр Никифорович. — У тебя получится не домик, а домище! Да ты соображаешь, что делаешь? Машину купил, барские хоромы строишь!.. И тебе не стыдно перед людьми? Разве это справедливо? Ты что, решил, все наши завоевания насмарку пустить? Новым помещиком хочешь стать?.. Не позволю фамильную честь позорить! Не позволю Кадочниковых срамить! Не позволю!

После такой вспышки что-то доказывать дяде Сане было и бессмысленно, и рискованно. Пришлось мне все-таки уменьшить и габариты дома, и в конце концов расстаться с той «Волгой».

Как-то пригласил дядю Саню на рыбалку.

— Удочками будем ловить? — интересуется.

— И удочками, и сеткой, — отвечаю.

— Что значит «сеткой»? — сразу насторожился дядя.

— Разрешили ловить двадцатипятиметровой сеткой, — уточняю.

— Где разрешение?

— Да вы что, шутите, дядь Сапья?

— Никаких шуток! Где разрешение, спрашиваю?

— Вы случайно... не из рыбнадзора? — с улыбкой гляжу на него.

А он на полном серьезе:

— Я построже рыбнадзора. Покажи разрешение!

Пришлось идти за разрешением. Но и это не удовлетворило дядю Саню.

— А всем разрешили ловить сеткой или тебе одному? — спрашивает.

— Всем, — отвечаю.

— Хорошо, я сейчас спрошу у соседей.

И на рыбалку мы с дядей Саней отправились только после того, когда он окончательно убедился, что всем разрешили ловить сетью.

Если собирались с ним идти на лося, жена заранее меня спрашивала:

— А где лицензия?

— В кармане.

— Ты уж ее поближе положи, чтобы дяде Сане сразу показать. Ведь он и шагу с тобой не сделает, пока собственными глазами лицензию не прочтет.

И точно. Приходил дядя Саня и спрашивал:

— А где лицензия?

Посмотрит ее со всех сторон, повертит, проверит, есть ли печать и подпись. Только после этого брал ружье и соглашался идти со мной.

Особенно любил дядя Саня утиную охоту, когда можно было на утренней или вечерней зорьке посидеть у заводи. Но и здесь он оставался верен себе: пока сам не прочтет в «Ленинградской правде» или в «Вечернем Ленинграде», что охотничий сезон открыт для всех, ногой ни шагу ни на «утрянку», ни на «вечерянку».

Бывало, идем с ним по росистой траве между березами, а он все к птичьим голосам прислушивается. Особенно его завораживал соловей. В такой миг дядя Саня забывал об охоте: готов был соловьиные трели слушать без конца.

Случалось, что птицы не пели. Беспокойно искал он тогда слухом хоть единый голосок синицы или пеночки, а в ответ — ни звука. Терпеть он не мог мертвого леса. Дядя Саня хотел, чтобы в лесу всегда пела жизнь!.. И тогда он обращался ко мне почти с мольбой:

— Павлик, как это у тебя здорово получается... соловушкой... А ну-ка, выдай трель!..

Я с удовольствием «выдавал» и трель, и все другие соловьиные коленца. Пел и пеночкой, и скворцом, и синицей...

Дядя Саня с наслаждением слушал, лишь изредка прицокивая языком:

— Ай да соловушка!.. Вот это, я понимаю, артист!.. Истинный артист!..

И мне казалось, в моем искусстве дядя Саня ценил выше всего это умение подражать Природе. В эти минуты он становился необыкновенно добрым. Куда девались его горячность и охотничий азарт! Мы подходили к заросшему камышом и осокой берегу, но охота его уже не интересовала. Ружье оказывалось ненужным грузом, и он тут же сбрасывал его с плеча. Спокойно и сосредоточенно смотрел дядя Саня в эти минуты на заросшую кувшинками утиную заводь и, как на исповеди, спрашивал себя:

— А не обидел ли я по своей горячности кого-то в жизни на скаку? Не опустил ли острую пашку на чью-то безвинную голову? Не разрушил ли в пылу то, что надо было сохранить на века?..

Видя и слыша все это, зная хорошо своего дядю Саню, мог ли я не воплотить его характер в образе Поливанова, в глубоких раздумьях героя о судьбе Уткиной заводи, о прошлом, настоящем и будущем живущих на нашей земле?!

Я очень благодарен Даниилу Александровичу Гранину за то, что он написал такую правдивую книгу жизни. Благодарен и режиссеру-постановщику «Картины» Булату Багагутдиновичу Мансурову за то, что он дал мне возможность создать образ Поливанова таким, каким я его видел и вижу в жизни.

Первое признание народа

На солнышке обтаивали завалинки. С крыш свисали сосульки. Молча и шумно вздыхая, оседали сугробы. Но до весны еще было далеко, санные дороги крепки и хорошо накатаны. Самое время для ярмарки!

Мы гордились тем, что на ярмарку съезжались не куда-нибудь, а к нам, в Бикбарду. По накатанным дорогам спешили в наше село жители деревень Ватутина, Троегубовка, Искильда, Калмияра, Куеда... Приезжали даже из Перми, Осы и Сарапула.

Нам, мальчишкам, встречавшим обозы, идущие к базарной площади, казалось, что они приехали с другого конца земли. Шутка ли — триста километров!

Ярмарки в нашем селе были для меня самым интересным событием года. С утра до позднего вечера над базарной площадью не умолкал шум голосов, переборы тальянок, всхлипы шарманок, зазывные каламбуры торговцев:

А вот бруски, бруски, бруски
Да от брусков куски:
Точат косы-самокосы,
Ножи, ножницы, кинджалы, штыки —
Налетай, мужики!

— Берем косу, забиваем лезвие...

Здоровенный рыжий детина начинает плоским серым брусом с остервенением тупить косу, приговаривая:

— Забиваем лезвие, делаем как обух! Ни мяса, ни хлеба, дажить языка — и то не порежить.

И он проводит затупленным лезвием по языку — все ахают в ужасе.

— Видали миндали-фигали? — обращается тот же шутник к окружающим, вываливая изо рта невероятно длинный язык?

Толпа радостно хохочет.

— И-и-и! — вдруг взвизгивает бабьим голосом рыжий и продолжает. — Берем брусочек с коровий носочек — и-и-и! — по одной стороне раз, по другой сторонке — два! Быстро снимаем рубцы. Делаем лезвие тонкое, что бумага, и острое, как бритва!

Если ваш сын разбил стекло,
Не надо бежать к Даниле,
От Данилы — к Гавриле,

Кормить его кашей,
Звать папашей.
А стоит только не выпить
Бутылку кислого пива,
Приобрести такое точило.
В каждом доме, в каждом хозяйстве
Такое точило — правая рука!

Рыжий высоко кидает брусок, ловко ловит его в оттопыренный карман и предлагает собравшимся попробовать косу на язык. Толпа теснее обступает рыжего. Каждому хочется попробовать косу. Конечно, не языком, а ногтем. Она действительно остра.

Торгуют на ярмарке решительно всем, что можно унести, увезти, съесть, выпить. И даже тем, на чем можно уехать: расписной кошевкой с медвежьей полостью, розвальнями, дровнями. Ведут красавца рысака и тощего полуслеплого одра, которому торговец-цыган за щеку пристроил когтистую лапку какого-то зверька, чтобы одер игриво вскидывал голову.

Здесь — и фокусники, и факиры, и гадалы, и продавцы икон и иконок.

Миная группу татар, играющих в какую-то азартную игру, еле передвигая ноги, бредет древний старец. Он весь обвешан маленькими иконками с изображением Георгия-победоносца из сказания о Змие. Простуженным сиплым голосом старец выкрикивает малопонятные слова:

— Страшное наказание непокорному сыну, который мучил и терзал свою старушку мать и не давал ей в первый день Светлохристово воскресенья разговеться! Лучше, грит, я змею буду кормить, чем тебя, лютую. В это время окружила его огромная змея!.. Кресток-образок — пять копеек. Ваших — двадцать; пятнадцать — сдачи получите, пожалуйста...

Только поздним вечером усталые, голодные до головокружения, но беспредельно счастливые, переполненные впечатлениями от бурного дня, мы разбегались по домам.

Под впечатлением увиденного, услышанного, а также из-за боязни, что мне попадет за постоянные опоздания к ужину, я почти с порога начинал воспроизводить как можно подробнее ту или иную сцену.

А однажды в ярмарочный день к нам в гости заехал друг нашей семьи доктор Григорий Иванович с женой. Зашел на огонек и папин друг, страстный рыболов-удильщик дьякон Андрей Папилович. Еще в сених я слышал посторонние голоса и не

посмел ворваться в дом, как всегда, и нарушить беседу. Тем более что дьякон говорил:

— Мне ведь, Петр Никифорович, все одно, что петь: что псалмы, что «Солнце всходит и заходит»...

— Бога ты не боишься, Андрей Папилович! — возмущалась бабка Тарутина.

На некоторое время воцарилась неловкая тишина. По своему маленькому опыту я знал, что эта временная тишина сейчас будет нарушена спором о религии. Потихоньку открыв скрипучую дверь и так же тихонько притворив ее за собой, я ссутулился, подогнул колени, шаркая по полу ногами, прошелся по комнате и громко выкрикнул сиповатым голосом:

— Страшное наказание непокорному сыну, который мучил и терзал...

Я не успел договорить, мои слова заглушил дружный хохот собравшихся. Громче всех смеялся Андрей Папилович:

— Ну, уважил! Ну, насмешил...

А Григорий Иванович очень серьезно посмотрел на меня и сказал:

— Петр Никифорович, а ведь ваш сын — артист!

Услышав слово «артист», я опрометью бросился за печку, забрался на полати и долго тихо всхлипывал. На ярмарке мне не раз приходилось слышать это слово. Только применительно к тому, кто что-то украл очень ловко или кого-то обвел, как говорят, вокруг пальца.

Позже, когда меня пригласили в драматический кружок взрослых, где я в одном из спектаклей должен был сыграть мальчишку, опрокинувшего тесто для блинов, понял истинное значение этого слова. Задача моя сводилась к тому, чтобы улизнуть от расправы отца, когда мой герой нечаянно опрокидывал на себя жидкое тесто. Но улизнуть не удастся. Отец ловит меня и, сам перепачкавшись в тесте, звонко хлопает по голой заднице.

Мой отчаянный вопль вызывал взрыв неудержимого хохота и одобрительных выкриков:

— Вот это артист!

— Браво, артист!

— Молодец, артист!..

«Проклюнулись!..»

Не перестаю радоваться волшебству пробуждения природы, как не перестаю удивляться чуду человеческой памяти. Родство между ними нетрудно увидеть. Как задремавшей почке любого растения достаточно весенней улыбки солнца, чтобы она брызнула нежно-зелеными листьями, красивыми соцветиями, так и памяти достаточно одного теплого человеческого взгляда, тонкого солнечного лучика, проклюнувшейся почки, чтобы ярко ожили картины прошлого.

В январский мороз недавней поездки в Бикбарду я поднял с земли у нашей старой школы только что сломанную веточку. Возможно, она обломилась под тяжестью птицы и упала с самой вершины дерева: в такие морозы ветви очень хрупкие. Поняв меня с полувзгляда, жена положила ее в сумочку и улыбнулась:

— На память.

Приехав в Ленинград, она поставила эту веточку в чуть теплую воду:

— А вдруг оживет.

Веточка стояла на подоконнике и совершенно не подавала признаков жизни. Прошли январь, февраль. На пороге — март... В окошко к нам стало чаще заглядывать солнце.

И вдруг, посмотрев на эту веточку, я, как ребенок, вскрикнул от радости:

— Проклюнулись!

Жена подошла и тоже удивилась:

— Надо же — ожила!

Ожила не только веточка, но вместе с ней и память о далеком детстве.

Вот в такое же весеннее время я, второклассник, на перемене сидел на скамейке в том же самом школьном дворе, где росла эта веточка. Сидел под школьным окном, на солнечной стороне, вместе с Шурой Тараториной, недавно приехавшей к нам из Сарапула.

Сарапул... Мгновенно ожил в памяти и этот уральский городок, который я навестил 11 декабря 1951 года. Солнце яркое, снег белый-белый. И дома тоже белые. Много их сохранилось еще от старого Сарапула: с замысловатыми резными наличниками, коньками, крылечками из тонких деревянных кружев.

Вспомнил даже те добрые чувства, которые вызвала во мне тогда эта красота человеческих рук. И как-то грустно было сознавать, что в скором времени на этом месте будут стоять однообразные, унылые архитектурные творения. Подумалось:

«Доведись кому-то из режиссеров снимать картину о наших не столь уж отдаленных предках, вряд ли им удастся отыскать такую своеобразную улочку, в которую так здорово вписались бы запряженная шустрой лошадкой кошевка с медвежьей полостью».

От Бикбарды Сарапул находится всего в ста верстах. Но мне в детстве казалось, что город от нас — где-то за тридевять земель.

И вот к нам в Бикбарду из Сарапула приехал новый лесничий. Бикбардинцы заволновались, засуетились:

— Из Сарапула!..

Я не бывал еще в то время нигде, кроме ближайших деревень, где жили наши ближайшие родичи, и Сарапул представлялся мне огромным и почему-то черным. Может быть, потому, что Тараторин, наш новый лесничий, носил черные буденновские усы, глаза у него были угольного цвета и шевелюра черная, курчавая.

Лесничий приехал к нам со всем своим семейством. С ним была жена — высокая и удивительно тонкая женщина, сын Игорь и дочь Шура, примерно моего возраста. Игорь ходил в коротких штанах на лямочках крест-накрест и без рубашки, самодовольно выпятив круглое, как арбуз, брюшко.

Нам было очень смешно, и разбирало любопытство:

— Почему это лесничонок ходит без рубашки и в коротких штанах?

Мы ходили за Игорем стайками, поглядывали на него издали и хихикали. Потом стали подходить поближе и даже осмелились задать вопрос:

— Ты это пошто нагишом ходишь?

— Я — рахит! — шмыгнув носом, гордо отвечивал Игорь, недобро уставив на нас черные, как у отца, глаза.

Значение этого слова, конечно, никто не знал. Оно показалось нам каким-то загадочным и важным. Ох, как всем нам тогда захотелось быть рахитами!

А сестра Игоря Шура носила необычное пальто: колокольчиком, без хлястика, и называла его тоже занятным словом «реглан». Мы же это слово почему-то сразу «перелицевали» в «реглант».

Когда Шура в черных аккуратных чесанках, в «регланте», с красной сумочкой проходила по улице с матерью, мы с завистью смотрели на нее и, подталкивая друг друга, говорили:

— Вон Шурка-реглант пошла.

«Подумаешь, — размышлял я тогда про себя, — реглант... Да если у моей дубленой шубейки отрезать хлястик, небось тоже «реглант» получится».

И однажды, после упорных трудов, я все-таки выдрал у

полушубка хлястик. Конечно, мне за это сильно попало, но... зато у меня был тоже «реглант»!

Чем мне нравилась Шура? Тем, что она была не такая, как все: черные глаза, темные косички... И тем, что она знала всех птиц, даже редкие растения, и была очень любознательная. «Если бы можно было с девчонками водиться, выбрал бы Шуру Тараторину, — втайне думал я. — Но... нельзя, все засмеют».

Будто угадав мое сокровенное желание, однажды на переменке Шура подошла ко мне и позвала в школьный двор:

— Павлик, пойдем на солнышко... за школой на скамеечке посидим? Не бойся: никто не увидит.

— Пойдем... — робко ответил я и пошел следом.

Осмотрелись, не следят ли за нами мальчишки, сели под окном нашего класса на скамейку, и от волнения я почти лишился дара речи.

— Как солнышко припекает! — говорит Шура и, смешно жмурясь, с удовольствием подставляет первым весенним лучам красивое смуглое лицо.

А я, онемев, только и делаю, что поддакиваю:

— Да, припекает.

Посидели еще в неловком молчании.

— Смотри: на самую верхушку дерева над памп села ворона, — заметила дочь лесника.

— И правда, села, — с трудом разглядев птицу, повторил я и вздохнул: — Нам бы урок не проворонить.

— Ой, — вдруг удивленно вскрикнула Шура. — Смотри перед собой.

— Куда?

— На веточку смотри. Видишь, почки проклюнулись!

— И правда, проклюнулись! — забыв обо всем, воскликнул я от радости, заметив клейкие, нежно-зеленые кончики листочков.

Радость наша оказалась слишком громкой. Тут же над нами распахнулось окно, высунулись ребячьи стриженные головы, и на весь школьный двор так, что каркнула в испуге и улетела ворона, раздалось хором:

Тили-тили-тесто —

Жених и невеста...

Хорошо еще, что раздался школьный звонок и хоть немного заглушил их голоса. Вбежав в класс, мы сели за парты, и долго еще все над нами подтрунивали-посмеивались, а мы стеснялись даже посмотреть друг на друга.

Наконец, когда все успокоились, мы переглянулись с Шурой

и улыбнулись своей тайне. Нам казалось, еще никто не знал в том году, что Весна уже сотворила чудо: первые почки уже проклюнулись!..

Бывают люди, так щедро наделенные природой, что они всегда излучают молодость, радость, задор, веселье, высокую мечту, поэзию, музыку — жизнь! Таким учителем жизни, к счастью, для нас, школьников Бикбарды, стал Феодосий Васильевич Виноградский.

Как проникновенно и с какой любовью Феодосий Васильевич рассказывал нам о Ленине, о пионерах и комсомольцах! И удивительно ли, что всем классом мы вступили в пионеры — так хотелось каждому из нас быть верным ленинцем.

Виноградский учил нас обрабатывать землю. Даже организовал экскурсию в соседнее село и показал, как работает электрический плуг. Помню, как, возвращаясь в родную Бикбарду, мы дружно пели всем классом песню на стихи Феодосия Васильевича и на бравый мотив «Мы — красные кавалеристы»:

Мы — ШиКеМята дружные,
И про нас
Село в часы досужные
Ведет рассказ
О том, как корнеплодами
И рядовыми всходами
Мы, юные крестьяне,
Поднимаем урожай.
На нашем знамени
Колосья звенят;
— Долой соху!..

Кто такие ШиКеМята? Да конечно же, это мы, учащиеся школы крестьянской молодежи.

А разве забудешь, как по этой вот бикбардинской дороге Феодосий Васильевич выводил в лес, поле, на озеро и учил слушать музыку природы? Мы затаив дыхание слушали и песнь соловья, и радость жаворонка, а грозное вечернее уханье болотной выпи, и еле слышный разговор с прибрежными камышами на вечерней зорьке волн.

Неудивительно, что мы, его ученики, пронесли эту любовь к музыке природы, к народной музыке через всю жизнь. И не здесь ли кроются истоки моей работы над кинофильмом «Серебряные струны»? Даже в самом названии этого фильма я вижу и всем сердцем слышу те серебристые волны, что так задушевно

шептались с наклонившимися к ним тростинками.

Всю жизнь песет любовь к музыке и мой учитель. После великой Победы над фашистами, в 1945 году, Феодосий Васильевич в Сочи возглавил хоровой кружок пионеров и по сей день руководит им. Сам с ребятами пишет и стихи, и музыку, и поет вместе с ними, несмотря на свой девятый десяток лет. Одну песню участники хора посвятили Рубену Ибаррури, героически погибшему при защите нашей Родины. Благодарная мать, Долорес Ибаррури, назвала хор «Поющим пламенем».

Более двадцати песен написали и спели о космонавтах хористы. А сам Феодосий Васильевич был в свое время учителем истории у космонавта Виталия Ивановича Севастьярова. В знак благодарности свою фотографию ему подарил летчик-космонавт Алексей Леонов. Подписывая ее, очень справедливо, как и все мы, его ученики, Алексей Архипович назвал Феодосия Васильевича Виноградского Учителем Жизни.

Гроздь красной рябины

Трудно передать словами все чувства, что я испытывал подростком, в день отъезда из Бикбарды в Ленинград. Как и каждого человека в таком возрасте, меня звала дорога, манила даль неизвестного, неодолимая вера во что-то более доброе и радостное, что я непременно встречу на своем пути.

Мне говорили, что я родился в городе на Неве. Но я ни разу еще не видел этот город в возрасте, когда можно что-то внимательно разглядеть и понять. И естественно, меня одолевали мысли: «Какой он, мой Ленинград? Какая она, улица Зодчего России? И как выглядит рядом с Невским проспектом, у театра со вздыбленными конями над входом, тот дом, где я родился?»

Правда, дедушка показывал в стереоскопе дома и улицы города на Неве. Но, честно сказать, мало кто из нас, ребятишек, верил тогда в правдоподобность увиденного. В жизни мы видели то, что строили люди в Бикбарде, Амуре и в других деревнях и селах. А дома и улицы, показанные дедушкой Егором, удивляли всех нас и казались очень красивыми, но... не «взаправдашними». Удивительными картинками — не более того.

Вот мне и не терпелось увидеть, самому убедиться, действительно ли на свете есть такие улицы и дома? А река Нева? Широкая ли она? Больше нашего бикбардинского пруда... Само собой разумеется, в своем воображении я уже купался в Неве!

От таких мыслей мне становилось радостно, я помогал матери как можно быстрее собрать, упаковать, увязать вещи и... отправиться к отцу, в Ленинград.

Вместе с тем, хорошо помню, что, взглянув на красные гроздья рябины, я почувствовал, как у меня защемило в груди. Возможно, гроздья ягод напомнили мне о том, что завтра я их уже не увижу. Не увижу ни этой рябины, ни этого пруда, ни этих воробьев на крыше нашего дома, почему-то присмиривших и грустивших. Не увижу завтра ни Антонины Васильевны, ни Феодосии Васильевича, ни Лени Новикова — никого из моих учителей и школьных ребят и девчонок.

Быть может, эти кисти рябины напомнили и о том весеннем солнечном дне в школьном дворе, когда Шура Тараторина первой заметила на ветке набухшие, лопнувшие почки и радостно воскликнула: «Проклюнулись! Смотри: проклюнулись!..»

А тут еще дедушка Егор подошел к нам, обнял, поцеловал нас всех, смахнул слезы и тяжело вздохнул:

Прощай, мой дом!

Сказал он это, видно, за всех нас то ли своими словами, то ли словами из песни или стихотворения, по сказал с такой болью, как будто мы и вправду больше никогда не вернемся сюда. Будто и вправду мы решили навеки забыть и родной дом, и Отчизну.

Как мне хотелось успокоить его, сказать: «Да нет же, дедушка Егор, нет! Ты же сам отсюда уезжал, двадцать пять лет прожил в городе на Неве, а все-таки вернулся! Вот и я вернусь! Ты думаешь, мне легко расставаться со всеми вами? Думаешь, я не люблю всех вас: и этот дом, и этих воробьев, и эту рябину?..»

Но повозка уже тронулась, и я не успел сказать ни слова. Взмолвленный, я растерянно смотрел то на маму, то на деда, то на удаляющуюся повозку с братом Колей и сестрой Зоей... Побежал за повозкой, догнал ее. И когда мы проезжали мимо рябинника, я сорвал красную гроздь рябины, помахал ею дедушке Петроградскому, всем, кто нас провожал, положил ее за пазуху и дал себе слово: «Довезу эту красоту до Ленинграда и сохраню ее как можно дольше!»

Слово сдержал.

Много лет прошло с той поры. Много повидал я на своем веку разных рябинников, по такую крупную, яркую, красивую рябину, как та, рябина моего детства, нигде не видел.

К сожалению, не встретил ее и в недавней поездке в Бикбарду. И как-то невольно подумалось: «А может быть, та яркая гроздь рябины осталась навсегда только в моем сердце? Может, она лишь в нем растет, созревает, своим теплом согревает меня под любыми гроздовыми тучами и с каждым днем становится все красивее и ярче?»

Когда пошатнулось небо

Гроздь рябины за пазухой в пути постоянно касалась тела и напоминала о Бикбарде, хотя дорожные картины и события замелькали передо мной с головокружительной скоростью, поражая своей необычностью, новизной. Они казались мне диковинными открытиями в стереоскопе дедушки Петроградского, и так же трудно было поверить, что все это не нарисовано и не во сне, а в заправдашной жизни.

Телега сменялась поездом, проселочная дорога — железной, деревни и села — большими городами, речушки — широкими реками, бревенчатые мостики — мостами с такими высокими дугами, похожими на радуги, что казалось, они соединяют не берега, а землю с небом.

Вокзал в Москве мне запомнился громадным зданием без потолка: очень уж высоким показался мне потолок, и я не сразу его разглядел. В этом гигантском здании люди выглядели маленькими и не в меру суетливыми, взвинченными. Я привык к тишине, пению птиц, природе. И вдруг — совершенно непостижимый для меня людской водоворот. Кто-то кого-то обидел, кто-то на кого кричит, кто-то куда-то бежит. Тетечка, схватившись за голову, рвет на себе волосы и истошным голосом кричит:

— Пропали вещи! Украли, изверги!..

Все это для меня совершенно незнакомое. Совсем-совсем другой мир. Ничего общего с тем, в котором я жил, от которого мы уезжали все дальше и дальше.

Цокая копытами по мостовой, лошаденка перевезла нас с Курского вокзала на Ленинградский. Извозчик помог нам выгрузиться из телеги, сесть в общий вагон поезда Москва — Ленинград.

Мама с надеждой сказала:

— Теперь мы взяли курс на Северную звезду. Не зря же ее величают не просто Полярной, но и Путеводной звездой!..

Как только в Ленинграде на вокзале нас встретил дядя Саня, мне и вправду поверилось, что все печали матери и отца, все плохое теперь позади. Может быть, поэтому в первые дни в этом городе я не чувствовал неудобств в крохотной комнате в доме на Большой Пушкинской, где нас пятерых приютила семья дяди Сани. В эти дни дядя казался мне очень похожим на дедушку Петроградского — таким же бескорыстным и добрым. В этом меня убеждал и мелодичный — а в праздники очень веселый! — колокольный звон Введенской церкви, что была как раз напротив

нашего окна и вместе с красной гроздьё рябины так напоминала мне Бикбарду.

Но однажды я проснулся от необычного шума и вопля. Один голос кому-то что-то доказывал. Второй — просил. Третий — умолял. Четвертый — рыдал. А пятый, видно отчаявшись, кого-то проклинал и грозил небесной карой!..

Мгновенно вскакиваю и спрашиваю:

— Что случилось, мама?

— Говорят, Введенскую церковь взрывать будут.

— Не может быть!

— А ты сам-то послушай, что народ говорит.

Прислушался: и правда — народ возмущается, называет безбожным и кощунственным деяние того, кто сносит церкви и губит все святое на Руси.

— Да ты не плачь, — успокаиваю маму. — Давай попросим дядю Саню, и он запретит взрывать церковь.

Я был уверен, что нашему дяде Сане любое доброе дело по силам.

Но как мы ни просили его, как народ ни умолял тех, кто намерен был свершить это злодеяние, с колокольной все же начали сбрасывать колокола. Небольшие, падая, обкалывались по краям с жалобным звоном. Самый большой колокол ухнул с громким стоном и раскололся глубоко по всей длине. А когда раздался оглушительный взрыв и степы церкви, расколовшись, упали наземь вместе с колокольной и куполами, мне показалось, содрогнулась не только земля — содрогнулся, раскололся, закачался над нами весь голубой небесный купол! Исчезло Солнце — и от свинцовых туч дохнуло сыростью, гарью и холодом.

Больно и глубоко что-то треснуло и в моей мальчишеской груди — там, где я хранил красную кисть рябины.

— Ты чего плачешь? — утешал меня дядя Саня. — Ты на мать не смотри. Она — женщина. А ты... глянь лучше на ребят. Найди хоть одного из них, кто бы ревел.

Пригляделся к сверстникам — ни одного плачущего. Более того, ребята, как на большом празднике, весело кричали, приплясывали, обламывали ветви совсем еще молодой березы и с хохотом хлестали ими обезумевшего от боли и прячущегося под обломки церкви котенка в рыжих пятнах.

— Чо вы делаете? — вне себя кричу от ужаса, подбегаю и вырываю из рук ребят хворостины. — Пошто искалечили березу? И как вам не стыдно обижать котеночка?!

— «Чо», «пошто», «котеночка», — кривляясь, передразнивал мое уральское оканье самый высокий из них, пряча от меня за

спину хворостину. — Ты что, с Луны свалился? Может, тебе и его жалко?

Кривляка показал кивком головы на льнувшую к его ногам и приветливо вилявшую пушистым хвостом худющую дворнягу. И прежде чем я успел ему ответить, он наотмашь хлестнул собаку по голове, да так, что она, взвизгнув, волчком закружилась у его ног.

— Изверги!.. — вырывается у меня крик с тем же словом, что у женщины на вокзале, ограбленной ворами. Набрасываюсь на мучителя, вырываю последнюю хворостину. — Вы кто: люди или звери?! Чо они плохого вам сделали? Пошто живое мучите? Да вы знаете, чо с вами за это сделают ихние хозяева?!

— Ха-ха-ха!.. — раздается дикий хохот.

Видно, только мой высокий рост мешал этим сорванцам наброситься на меня, отнять прутья и отхлестать меня, как котенка и дворнягу. Все они отбежали от меня на несколько метров и теперь зубоскалят надо мной.

— Ты сперва разговаривать научись, а потом поучай, — брезгливо огрызается все тот же вихрастый. — Опять заокал да зачокал. Ты что, и вправду чокнутый? Неужели не понимаешь, что у них нет хозяев?

— Как это «нет»? У каждой кошки и собаки есть свой дом, а значит, и хозяин.

— Бездомные они, чуждак-человек.

— Как «бездомные»?

— Приблудные.

— Кто это вам сказал, что есть такие собаки и кошки?

— Да он, кажется, и правда с Луны свалился. Если хочешь знать, их у каждой церкви навалом.

— И, по-вашему, их надо обижать и деревья ломать?

— Да что с ним разговаривать! — махнул рукой высокий. — Он, как богомольный дед или бабка, так и норовит каждого пожалеть. А того не понимает, что на всех у человека жалости не хватит. Ишь, какой кошачий заступник выискался! Тут у церквей сносят золотые маковки с крестами, а он березу с котенком да псом приблудным пожалел. Уйдешь — мы все равно дерево доломаем и твоих котенка с кутенком добьем! Долго они под развалинами не отсилятся: скоро бульдозер здесь все с землей сровняет...

— Да чо они вам плохого-то сделали?

— Ха-ха-а-а... «чо»! Опять заокал и зачокал. Мы еще с тобой встретимся — не так поговорим, — пригрозили мне ребята и ушли.

Говорят, подросток не может глубоко ощутить душевную

боль, осмыслить и запомнить ее надолго. Неправда. И сегодня во мне живы та боль и те мысли, с которыми я тогда остался наедине у разрушенной церкви, изуродованной березы, рядом с живыми, обиженными существами.

«Почему взорвали церковь? — пытался понять. — Обидели не только верующих. Оказывается, на свете живут бездомные, беспризорные собаки и кошки. И они приходили сюда к добрым людям. Где же теперь они будут ночевать? Кто теперь их накормит и пригреет?»

Приплелся домой перед сном. Я удивился, что дядя Саня не очень-то опечален взрывом церкви.

Ложусь спать и думаю: «Дедушка Егор добрей дяди Сани. Будь сейчас дедушка Петроградский не в Бикбарде, а здесь, он не дал бы в обиду ни церковь, ни людей, ни кошек, ни собак. Почему же не защитил всех такой справедливый и такой смелый дядя Саня?»

Всхлипывая под одеялом, слышу, как дядя Саня говорит маме:

— Ты за Пальку очень-то не беспокойся, Груша. Да и сама не убивайся: лес рубят — щепки летят. И Палька твой успокоится. Крепкий сон все как рукой снимет.

Но крепкий сон ко мне не приходил. Всю ночь меня одолевали жуткие кошмары. Крики, стоны, вопли... А взрыв церкви во мне отозвался так, будто не золотая маковка, а моя голова разлетелась на части вместе с колокольным звоном!.. Я вскрикнул, проснулся и посмотрел в окно: мне показалось, пошатнулся купол самого звездного неба.

«Скорей бы в школу! Скорей бы в школу...» — шепчу себе, пытаюсь уснуть.

Мне казалось, только школа, как в Бикбарде, все объяснит мне и ответит от меня все беды.

От черной речки

Утро выдается далеко не таким безоблачным, как на Урале, но это мое первое школьное утро в городе на Неве. И даже редкие проблески солнечных лучей подбадривают меня, говорят мне, что день этот будет чем-то сродни тому, когда я пришел в Бикбарде первый раз и первый класс.

В 181-й школе Петроградского района учительница встречает приветливо и для лучшего знакомства с классом просит рассказать что-нибудь наизусть.

— Басню Ивана Андреевича Крылова «Ворона и Лисица» знаешь?

— Знаю, — отвечаю.

— Вот и хорошо. Расскажи нам ее, Павлик.

И я начинаю:

Уж сколько раз твердили миру...

— Что же ты замолчал, Павлик? Не надо так волноваться.

— Начало забыл.

— А ты продолжай, что знаешь.

— Хорошо, продолжу:

Вороне где-то бог послал кусочек сыру;
На ель Ворона взгромоздясь,
Позавтракать было совсем уж собралась,
Да позадумалась, а сыр во рту держала.
На ту беду...

Взрыв хохота неожиданно останавливает меня. Удивленно смотрю на ребят, учительницу.

— Что это они?

Взрыв хохота еще громче.

Думаю: «До самого смешного еще не дошел, а они хохочут. Неужели я так смешно рассказываю?»

— Тихо, ребятки! Имейте совесть, — успокаивает учительница. — Не обращай на них внимания, Павлик. Рассказывай.

— На чем я остановился? — думаю вслух.

— Ты остановился на том, — подсказывает с дальней парты долговязый ученик, смешно гримасничая, явно передразнивая,

издевательски делая очень сильные ударения на каждом звуке «о», — ...на том, что

На ель Ворона взгромоздясь,
Позавтракать было совсем уж собралась,
Да позадумалась, а сыр во рту держала.

Долгий хохот школьников теперь уже не в силах остановить и учительница.

— Да чо это они? — возмущаюсь.

В ответ — новая волна смеха.

Учительница берет мел, подходит к доске, красиво пишет и спокойно мне разъясняет:

— Павлик, в русском языке нет слова «чо», а есть «что».

— Вот я и спрашиваю, что это они смеются?

— Да нет же, — переждав новый взрыв хохота, терпеливо и добродушно поясняет мне учительница. — Это только пишется «что», а произносится «што».

— Вот и у нас, в Бикбарде, так же говорят.

— Как, Павлик?

— Пошто пошел да поехал?..

Теперь уже вместе с учениками и учительницей хохочу и я.

— Что вы все на него одного набросились? — заступается за меня очень похожая на Шуру Тараторину девочка. — Разве он виноват, что учился в такой школе и у таких учителей?

— Ты мою школу не трожь, — обижаюсь на заступницу. — Ты знаешь, какие у меня были учителя? А не знаешь — не говори. Да если хочешь знать, у меня были самые лучшие на свете учителя!..

Мне казалось, мой старший брат Коля поможет мне убедить всех, что и учителя, и школы наши на Урале были лучшими в мире.

Но брат сам переживает тяжелый удар. Узнав, что на Урале Коля не изучал иностранный язык, его в Ленинграде переводят классом ниже, сажают со мной за одну парту, чтобы он мог изучать немецкий язык. Все относятся к брату с сожалением и сокрушаются, что и нашей стране есть еще в глубинке школы, где не преподают ни одного иностранного языка.

Здесь же, в школе, ребята занимаются в драматическом кружке. Как хочется и мне вместе с ними играть в спектаклях! Соблазн так велик, что я прихожу в кружок, но постоянные насмешки над моей речью отталкивают меня и, несмотря на терпеливое и доброе отношение ко мне всех учителей, вынуждают замкнуться и по раз вспомнить добрый совет учителя бикбардинской школы Феодосия Васильевича Виноградского: «Не

смеяться нам надо над Шурой Тараториной, что она «акает», а учиться у нее правильному произношению: ведь всем вам в большую жизнь выходить!»

Пробую найти для себя другие интересные занятия. Увлекаюсь баскетболом, волейболом... Но — что поделаться собой? — тянет к себе неодолимой силой искусство. И все тут!

Смотрю: через дорогу, на той стороне улицы Скороходов а, вечерами ребята занимаются в художественной студии. Рисовать меня отец с незапамятных лет учил. И в бикбардинской школе любил рисовать, и здесь... Почему бы не рискнуть? И поступаю на изобразительное отделение.

Выводим призмы, кубы, треугольники день, второй, третий... Чувствую, как с каждым днем интерес к занятиям в студии угасает.

— Когда же, — спрашиваю соседа-студийца, — рисовать начнем?

— А мы что делаем?

— Да какие-то кубы, призмы...

— Эх ты, деревня, — безнадежно качает головой сосед. — Да пойми же ты: сейчас самое модное течение в мире — кубизм!

— Абстракционизм, — уточняет девушка-студийка.

— Вот именно, — соглашается сосед и с еще большим старанием заостряет грани куба, его углы.

А моя рука как-то сама по себе выводит гроздь рябины, что я у сердца вез с собой в Ленинград, березку, весенним ароматным соком которой поил меня дедушка Егор, жаворонка в небе, с которым я состязался в пении и учился брать чистую ноту на радость маме...

— Вы чем занимаетесь, Кадочников? — спрашивает из-за плеча преподаватель.

— Рисую...

— А вам случайно не скучно у нас?

— Случайно... скучно, — признаюсь чистосердечно.

— Тогда, может быть, перейдете на другое отделение? У нас в студии есть и театральное, и вокальное, и другие отделения. Подумайте.

— Спасибо... Хорошо... Я подумаю.

Преподаватель отходит, а я думаю: «Как же могу пойти на театральное отделение? И здесь засмеют».

Подхожу к двери театрального отделения, а переступить порог не решаюсь. Будто два человека во мне. Один говорит:

«Чего трусишь? Иди! На роду написано: «Быть тебе, Палька, артистом!»

А второй останавливает:

«Не смей! Ты хочешь опять быть для всех посмешищем?»

«Да иди же ты! — почти в шею толкает меня первый. — Не зря же тебе отец тысячу раз говорил: «Не боги горшки обжигают».

«То — горшки, а здесь — сыр», — настырно перечит второй.

«Какой еще сыр?»

«А тот, что бог Вороне послал. Сейчас войдешь, а тебе скажут: «Прочти басню Крылова».

И второй этот... как в воду глядел.

Едва переступаю порог — молодой художественный руководитель встречает вопросом:

— А-а-а! Новичок к нам пожаловал?

— Новичок, — отвечаю.

— Басню Ивана Андреевича Крылова наизусть знаете?

Тут же пробегают у меня по всему телу мурашки, но, собравшись духом, говорю твердо:

— Знаю.

— Расскажите, пожалуйста!

«Ну, — думаю, — теперь-то я сам себя не подведу. Зря, что ли, после тех насмешек в классе, каждый день по несколько раз, уединясь в парке, громко читал эту басню ели, березке, клену, дубу и даже самой вороне у гнезда, изо всех сил стараясь не окать по-уральски, а отчаянно акать по-ленинградски каждый слог с буквой «о»?»

Но происходит что-то совершенно непонятное для меня.

— Внимание, — обращается к студийцам художественный руководитель. — Послушайте басню Ивана Андреевича Крылова «Ворона и Лисица»...

Он что-то еще говорит, но других его слов я уже не слышу. Как только руководитель произносит эти два «волшебных» слова — ворона и лисица — происходит чудо: мгновенно вижу зеленую ель с острыми иголками, под кроной — рыжеватую лису с красивой мордочкой, слегка вздернутым носом и хитрющими, прижмуренными глазами, смотрящими вверх. А вверх, на ветви с еловыми шишками, отчетливо вижу ворону с кусочком сыра во рту. Всматриваюсь в сыр — хорошо различаю, что сыр ноздреват, с красной каемочкой, как полумесяц, по краям и как-то сами собой вместе с глубоким вздохом вырываются слова:

Вороне где-то бог послал кусочек сыру...

Лишь дружный хохот, как холодным душем, смывает мое воображение — сразу понимаю и его причину, и весь ужас своего неминуемого провала: увлеченный образами ели, лисы, вороны, сыра, я совершенно забыл, что надо было акать, а не окать по-

уральски!

И так же, как в классе, слышу, как передразнивает меня один студиец:

— Вот это артист с поговорочкой на «о»: «вороне», «послал»...

Смотрю на дверь, чтобы от позора пулей вылететь вон.

— Ну, что? Примем его в нашу студию? — вдруг неожиданно для меня спрашивает художественный руководитель.

И, к еще большему моему удивлению, все кричат хором:

— Примем! Примем! Примем!..

От радости готов всех расцеловать.

А художественный руководитель снова спрашивает:

— Кем его примем?

— Осветителем! — тем же дружным хором отвечают студийцы.

«Значит, в артисты не гожусь...» — бреду по улице Скороходова, всхлипывая.

Чтобы в своем дворе и дома никто не видел меня зареванным, решаю подольше побыть в парке Ленина. Выплакаться — и только потом домой.

Подхожу к парку и слышу истошный крик со стороны зоопарка. «Не кошка ли случайно забежала в клетку льва, тигра или волка, — думаю, — и попала в лапы хищнику?»

А крик все сильнее и надрывнее, и, кажется, где-то рядом. Присмотрелся, вижу, пацаны ветками, как плетями, кого-то хлещут. Подбегаю — кошку бьют. Привязали ее веревкой к стволу клена и издеваются. Расталкиваю их, развязываю окровавленную серую кошку, а они теперь уже меня по спине хлещут. Выпускаю страдалицу, поднимаюсь, прислоняюсь спиной к стволу клена и говорю им:

— Что вы делаете? Как вам не стыдно беззащитную бить? Перестаньте! Вы же видите: я с вами драться не хочу!..

— Да это же тот самый... с Пушкарской... Бей его, как ту собаку! — вопит самый высокий из них.

Узнаю и я его.

— О! Да он, оказывается, с пионерским галстуком. — замечает второй. — Бей пионера!

— Бей ленинца! Бей!.. — визгливым хором поддерживают его все четверо.

Высокий подкрадывается сзади, хватается обеими руками за галстук и больно прижимает мою шею к стволу, вопя:

— Давай веревку!.. Давай!.. Мы повесим его за галстук на этом же дереве!

— Души пионера! Дави ленинца!.. — орут остальные.

Невероятными усилиями воли, задыхавшись, вырываю из рук

живодера галстук, наносишь ответные удары одному, второму, третьему — и вот уже все пятеро трусливо убегают от меня.

На следующее утро просыпаюсь и не могу пошевелить ни рукой, ни головой: все тело как разбитое, тяжело дышать. И все же тогда я еще не знал, что в жизни есть травмы тяжелее физических, и заживают они дольше.

По Ленинградскому радио объявляют, что на съемку кинофильма приглашаются школьники.

— Мама, слышишь? — воспаляюсь доброй надеждой мгновенно.

— Слышу, сынок, — отвечает мать. — И не только слышу, но и вижу. На твоём лице читаю, что, видно, судьба — работать тебе там, где твоя мать работала. Но одного я тебя туда завтра не отпущу. Вместе пойдем.

И вот, после бессонной ночи, это «завтра» — наконец-то! — наступает.

На большом дворе кинофабрики родители стоят поодаль, а нас всех выстраивают в одну шеренгу. Среди ребят я оказываюсь самым высоким и самым худым.

— Подравняйся! — раздается команда. — Тихо!.. Сейчас режиссер-постановщик придет.

А я стою и думаю: «Хоть бы он меня про Ивана Андреевича Крылова не опросил. Спою, спляшу... Если надо, на голову встану — только бы не басню, только бы не басню...»

Открывается дверь, из нее выходит сухощавый высокий мужчина, в пенсне, с тросточкой в правой руке, и все мы сразу же догадываемся, что это и есть режиссер-постановщик.

Признаться, я представлял его себе ночью совсем другим. Он виделся мне неземным человеком, божеством, а кинофабрика — храмом. Шутка ли: этот человек здесь творит, создает кино! В Бикбарде дедушка Егор не раз рассказывал, что в Ленинграде, рядом с домом, в котором я родился, увижу Аполлона — бога Солнца, покровителя муз. Я даже в честь его стих сочинил:

Как хорошо, что над землею
На колеснице Аполлон!
Его душа полна любовью —
И каждого заметит он.
Быстрее, залетные! И в тучах
Несите бога прямиком,
Чтоб в мире лучшего из лучших
Успел он одарить венком!

Таким я и представлял себе творца спектаклей и кино:

красивым, добрым, благородным, справедливым, всевидящим. А что же вижу? С высокомерной, брезгливой ухмылкой сухопарый, бесцеремонный старец холодной и не очень чистой тростью касается подбородка школьницы, заставляет улыбнуться, показать зубы... То же самое вытворяет с ее соседом — вторым школьником, третьим, четвертым...

«Да что же он делает? — вздыхаю. — Так у нас на бикбардинской ярмарке цыгане лошадей выбирают. Правда, там без тросточки. А этот даже не соизволит снять ни пенсне, ни перчатки...»

Подходит ко мне — и лицо его искажается не только брезгливой, но страшной гримасой.

— А это что еще за дудорга? — брызжит он ассистенту, больно постукивая меня тростью по тонким ногам. — Вы что, первого попавшего с улицы мне тащите? Я вас спрашиваю: где у вас глаза были?! А ну-ка... кш-ш-ш! Сейчас же брысь отсюда вон! И чтоб я тебя больше здесь никогда не видел! Ишь, посмеяться надо мной вздумали. Я вам посмеюсь... Не позволю!..

Подбегает мать и говорит прямо в глаза режиссеру-постановщику:

— Да как вам не стыдно, господин? Кто вам дал право душу ребенка калечить? Эх, вы-ы-ы! А еще ученым себя считаете... Да что же это творится на свете, люди добрые? Великие революции свершаются, а великие хамы как были, так и остаются!.. Пойдем отсюда, сынок. Хватит того, что они, надо мной здесь вволю поиздевались да кровушки моей всласть напились! Дойдем, Павлик!.. Пойдем!..

Будто боясь, что со мной случится что-то непоправимое, мама, не выпуская моей руки из своей ладони, проклиная этот позорный, унижительный спектакль отбора достойных, этот злосчастный двор, «этот «Аквариум» с шипящими, ядовитыми гадами», приводит меня к самому дому. Видимо, хоть в какой-то мере ее успокаивает то, что я не плачу, и она отпускает меня у порога дома.

А со мною уже произошло то, чего боялась мама. Пять слов жили во мне как святыни: Родина, Рабочий, Поэт, Художник, Артист. И, казалось, теперь их во мне убили.

Бреду по улице куда глаза глядят и думаю: «Неужели я и вправду родился только для насмешек? Мама научила меня петь, папа — любить стихи, сочинять их, рисовать ромашки, березы, скворцов, жаворонков... Этому же учили меня и Антонина Васильевна Харлова, и Феодосий Васильевич Виноградский. Дедушка Егор и другие учили меня вежливости и доброте. А как радостно хлопали в ладоши на Урале нам, самодеятельным

артистам, после каждого спектакля Шура Тараторина, мама, отец, бабушка Тарутина — да все бикбардинцы!.. А здесь, получается... как у Сергея Есенина:

Моя поэзия вам больше не нужна,
И сам я вам ни капельки не нужен.

Здесь меня убеждают, что я даже разговаривать не умею. Да что — разговаривать? Режиссер-постановщик считает меня каким-то страшилищем. Он даже не считает нужным со мной вежливо словом обмолвиться. Он шикает на меня, как на каркающую ворону и презрительным «Брысь!» гонит меня от кино, как ту серую кошку...»

И чем глубже вдумываюсь в случившееся, тем большее сходство нахожу между режиссером с обрызганной грязью тросточкой и хулиганами с окровавленными прутьями. Кто больше из них ранит? Теперь я знаю ответ и на этот вопрос. Если после жестокого избиения меня прутьями я все же выздоровел и хотел жить, то теперь, после встречи с этим режиссером-постановщиком, жить не хочу.

«Зачем да и как мне теперь жить? — рассуждаю. — Артистом, говорят, мне никогда не быть, художником тоже. До рабочего еще долго расти. Но могу ли я жить, так опозоренный сегодня перед матерью, девчонками и мальчишками класса, школы — да перед всеми людьми этим режиссером? Нет! Не могу и не хочу!..»

К этой страшной мысли, бредя по улицам и переулкам, прихожу вновь и вновь. Такой исход мне кажется единственным и неизбежным: «И чем быстрее, тем лучше. Только так я избежу еще большего позора. Ни маме с папой, ни брату с сестренкой, ни Родине, ни себе — никому опозоренный я не нужен».

Это я решил уже в ту минуту, когда режиссер обозвал меня дудоргой, кшикнул на меня, брезгливо сказал «Брысь!» и вдогонку, когда мама уже повода меня за руку, бросил с ненавистью:

— И запомните: вашему сыну никогда не быть артистом! Слышите? Ни-ко-гда!

Представляю, как больно маме от этих: слов. Меня же слова эти не просто хлестнули прутьями или плотью. Они, как тяжелые камни, как булыжники-дикари, с непостижимой дьявольской высоты совершенно неожиданно обрушились на меня и оглушили, потрясли, убили во мне мечту, надежду, радость, все, без чего человек жить не может.

— Почему ты не плачешь? — удивляется мама, подводя меня к дому. — Поплачь, Павлик... Поплачь, сынок... легче станет.

А у меня — ни слезники. То ли я выплакал тогда все в парке Ленина, то ли сейчас режиссер убил во мне даже слезы.

Кажется, окаменело во мне все, а обидно. Тогда, в парке Ленина, несмотря на то, что хулиганы жестоко избили меня, легче мне было оттого, что я дал им сдачи. Не я, а они тогда убегали от меня. Теперь же мне больнее, конечно же, еще и потому, что режиссер избил, смертельно ранил нас словами-булыжниками, а сдачи не получил, остался безнаказанным. Правда, мама вела себя достойно. Она сказала все, чего заслужил своим поведением хам.

«А я? — терзает досада. — Даже слова ему в ответ не сказал. Если не за себя, то хотя бы в защиту мамы. Выходит, она смело с ним воевала, а я трусливо стоял и смотрел? Позор!.. И перед мамой, и перед мальчишками и девочками — да перед всеми! — стыдно... Но что я мог сделать, что? Не мог же я драться с ним, как с темн хулиганами?»

И снова заспорили во мне два человека:

«Не оправдывайся, — упрекает второй. — Струсил — значит, честно скажи хотя бы самому себе: «Струсил».

«Да не струсил я!»

«Тогда почему молчал?»

«Он старше меня».

«Ну и что?»

«Мама, папа, бабушка Тарутина, дедушка Петроградский, все учителя внушали мне с пеленок, что я должен уважать старость».

«Но ты же видишь, что старость бывает разная: есть мудрая и благородная, а есть, выходит, старость, переполненная злобой и хамством!»

«Значит, по-твоему, я должен был, как с теми хулиганами на Пушкинской и в парке Ленина, пустить в ход кулаки?»

«Он же тебя не кулаками бил, а словами».

«А какими словами я мог ему ответить?»

«Не прикидывайся ребенком. Только этот режиссер хотел тебя видеть бессловесным и беззащитным животным. Поэтому он и крикнул на тебя: «Брысь!» Ты промолчал — значит, согласился. Но разве ты и вправду такой бессловесный?»

«Не читать же мне ему басню «Ворона и Лисица»! Тем более, он об этом меня и не просил».

«А кроме этой басни, ты больше ничего не знаешь?»

«Знаю другие басни Крылова».

«Что еще?»

«Утро» Никитина».

«Вот именно! Зря, что ли, отец столько раз рассказывал вам с Колей на берегу бикбардинского пруда на зорьке? «И, надеюсь, ты

еще не забыл любимые стихи Антонины Васильевны Харловой?»

«Да все их я знаю наизусть: «Памятник» Пушкина, «Не то, что мните вы, природа...» Тютчева, «Смерть поэта» Лермонтова...»

«Вот и прочел бы ему... хотя бы эти четыре строчки Тютчева:

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...»

«Ты бы мог еще спеть ему любимую песню матери «Родина», песню Феодосия Васильевича Виноградского «Мы — ШиКеМята дружные», сплясать, прочесть своего «Аполлона».

«А если бы он и слушать ничего по захотел?»

«Тогда прочел бы ему две строки из «Смерти поэта», не мигая, глядя в глаза:

И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!»

«После драки кулаками не машут. Водь напрасно говорить, когда уже все потеряно».

«Что значит — все?»

«Все равно мне в таком позоре по жить».

«Согласен. Выхода у тебя другого нет... Ну, а о матери с отцом, брате и сестре ты подумал? Они будут жить в этом городе, в этом, Петроградском, районе, ходить по этим улицам, встречать твоих друзей и знакомых... Не стыдно ли им будет ходишь по этой земле? Умереть надо уметь тоже достойно. Ни в театре, ни в кино тебе уже не работать. Но позор твой ты можешь смыть И — только сегодня, сейчас, пока этот режиссер еще во дворе кинофабрики. Не медли ни минуты... ни секунды!.. Сейчас же беги к нему и... докажи, что ты — человек!»

«Как-то неудобно...»

«А ему было удобно тебя оскорблять?»

«Идти к нему... без разрешения?»

«А ты разрешал ему обзывать себя дудоргой?.. Сейчас же иди, беги немедленно!»

Бежать далеко не надо: ноги сами давно уже водят меня по улицам и переулкам вокруг кинофабрики. Вбегаю во двор — ни души!..

Появляется с метлой дворничиха. Спрашиваю:

— А где он?

— Кто?

— Ну, все они... которые сниматься пришли.

— Э-э-э, милый мой! Поздно хватился. От них уже, сам видишь, одни фантики остались. И так всегда: налетят, нагальдятся, как грачи, фантиков от конфет набросают — и разлетятся.

— Значит, опоздал, — вздыхаю так тяжело, что старушка перестает подметать.

— Достойных отобрали, а всех остальных поблагодарили и отпустили с богом, — уточняет она. — Вот они все и разлетелись, как галчата.

— Значит, достойных отобрали, всех поблагодарили и отпустили с богом? — еще сильнее вскипает обида. — Выходит, я один недостойный — и меня можно к черту послать?!

— Знать, не судьба, — разводит руками старушка.

— Да, не судьба, — соглашаюсь с нею.

— Завтра приходи, соколик. Говорят, на другое кино будут школьников набирать.

— Да не будет у меня «завтра», бабуля!..

— Как это так — не будет?

— А вот так... Передайте ему и другим таким же режиссерам, что ноги моей здесь больше не будет!.. Спасибо, бабуля, и доброго вам здоровья!

Отворачиваюсь, выбегаю со двора и слышу уже вслед:

— Да ты не сокрушайся так, сынок. Пойми одно, соколик: ведь выбирают самых лучших... лучших из лучших...

— Значит, я худший из худших?.. худший из худших? — выбегая на Каменноостровский проспект, повторяю эти два слова, и они отдаются, звучат во мне, как эхо, только уже без вопроса:

«...худший из худших... худший из худших... худший из худших...»

Дедушка Петроградский говорил, что по этому Каменноостровскому проспекту спешил на дуэль с Дантесом Пушкин. Бегу по нему и я туда же, к Черной речке.

«О-о-о, — вздыхаю, словно огненным, горячим воздухом, — как хорошо я понимаю теперь Пушкина!

Погиб поэт! — невольник чести —

Пал, оклеветанный молвой.

С свинцом в груди и жаждой мести,

Поникнув гордой головой!..

Вот здесь, справа, совсем близко, учился Михаил Юрьевич Лермонтов. Конечно же, он хорошо понимал, что

Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде... и убит!»

На месте дуэли Александра Сергеевича стою, урони и на грудь голову, а боль сама вылетает со вздохом:

Убит!.. к чему теперь рыдания,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправдания?
Судьбы свершился приговор!

«Пушкин хоть выстрелить в Дантеса успел, — думаю, — а мне и не в кого, и нечем стрелять...»

Смотрю на березу, на ее высокий сук, прикидываю: «Не обломится сук? Выдержит меня?» Лихорадочными движениями пальцев вытаскиваю из брюк новенький черный ремень. «Этот, — думаю, не подведет...»

Вдруг слышу рядом шаги. Оборачиваюсь — девушка с парнем в обнимку прогуливаются. «Эти, конечно же, мне помешают. А не эти, так другие. Видно еще, — размышляю, — надо темноты дожждаться».

Смотрю на солнце — еще высоко. И тут я снова вспоминаю дедушку Егора. Там, на Урале, когда он поил меня впервые березовым соком, помню, говорил:

— Жизнь каждого из нас, внучек, коротка. Все мы на этой земле гости. А гости должны быть благодарными людьми. Дай бог тебе здоровья и долгой радостной жизни!.. Но если ты почувствуешь когда-то, Павлуша, что дни, часы твоей жизни сочтены, наберись мужества, мудрости и останься до последнего вздоха человеком благодарным. Поклонись, внучек, Яриле-Солнцу за его тепло и жизнь, родному дому, попроси прощения у тех, кого случайно, напрасно обидел. И тогда земля распахнет тебе свои объятия, как родимая мать, и станет для тебя пухом».

«Извиняться мне, деда Егор, не перед кем. Жил я, как ты советовал, никого не обижал, — исповедуюсь мысленно перед дедушкой Петроградским. — А все остальное сделаю так, как ты мне советовал у той березы... Спасибо тебе, солнышко, за тепло и за жизнь. Только она мне больше не нужна. Видно, потому ты так медленно опускаешься к закату, чтобы я успел еще и поклониться дому, где родился...»

Идя по берегу, думаю: «До чего же темная вода в Черной

речке! Не зря ее народ так назвал».

Бегу в обратную сторону по тому же Каменноостровскому проспекту. Как только справа увидел двор кинофабрики, сразу вновь оживает в моем воображении свирепое лицо того режиссера, его проклятия мне вслед на ломаном русском языке, с явным иностранным акцентом.

Кончается Каменноостровский проспект, и я бегу через мост, по набережной Невы, мимо Зимнего дворца, сворачиваю на Невский, останавливаюсь на Дворцовой площади рядом с высокой Александринской колонной — и снова вспоминаю Пушкина:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный.
К нему не зарастет народная тропа.
Вознесся выше он главою непокорной
Александринского столпа...

Пробегаю по Невскому проспекту мимо Казанского собора, Гостиного двора, задерживаюсь на мгновение напротив Театра имени А. С. Пушкина. За памятником царице Екатерине хорошо вижу над входом в театр четырех вздыбленных коней и несущегося с венком в руке в колеснице Аполлона. Надо бы мне свернуть направо, прямо к театру, навстречу несущейся колеснице и, как раньше, прочесть богу — покровителю муз! — свое стихотворение «Аполлон». Ведь совсем рядом с театром дом, где я родился!.. Но мне кажется, десятки людских глаз перед театром смотрят на меня. Да и останавливает сомнение: «А достойному ли служителю муз так спешит Аполлон вручить свой божественный венок?»

Немного постояв, решаю: «Нет. Лучше мне подойти к своему дому со стороны реки Фонтанки». Подбегаю по Невскому проспекту к Фонтанке и, пораженный, останавливаюсь перед вздыбленными конями на Аничковом мосту. Сколько раз я уже смотрел на них! Но они никогда не производили на меня такого впечатления. Теперь же мне вдруг подумалось: «А ее те ли это самые скакуны — умницы кони бога Аполлона? Не разбежались ли они в разные стороны оттого, что бог, по случайной ошибке, мчался с венком к недостойному служителю муз — к тому постановщику-режиссеру на кинофабрики на Каменноостровском проспекте? Если это так, то напрасно его, Аполлона, верные слуги пытаются поймать и удержать вздыбленных коней. Им никогда не удастся больше впрячь свободных, разумных коней для божественного подношения венка случайному невежде и хаму в храме Искусства!»

От Аничкова, моста по набережной Фонтанки подхожу к

площади Ломоносова и невольно останавливаюсь перед его памятником. Там, на Урале, сколько рассказывали нам о нем и Антонина Васильевна Харлова, и Феодосий Васильевич Виноградский! А верилось с трудом, что обыкновенный парнишка из далеких северных Холмогор пешком дошел до самой Москвы, чтобы учиться, и своего добился. А теперь сам вижу, глядя на этот памятник. Внизу сидит на пне, склонившись над книгой, простоволосый мальчишка с засученными штанинами, босыми ногами. Точь-в-точь такой, какими и мы, деревенские мальчишки, бродили по берегу Бикбардинки А вверху — великий ученый Земли. Кажется, он не просто смотрит. Он обращается к нам, мальчишкам, и я слышу его слова:

О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих.
О, ваши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободренны
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.

«Извините, Михаил Васильевич, — мысленно оправдываюсь перед ним, — видно, не всем быть учеными, поэтами... Я тоже хотел принести своему Отечеству как можно больше пользы! Но я ли виноват, что меня так оскорбили? И Пушкин, и Лермонтов не могли вынести оскорбления. Не жить и мне оскорбленному. Ведь вы бы тоже не могли пережить такой позор!.. Что ж, видно, не каждому, особенно деревенскому, парнишке суждено пробиться в Науку и Искусство. Бабуля с метлой мне сегодня так и сказала: «Знать, не судьба...» А родился я, Михаил Васильевич, вот здесь, рядышком с вами... Вот она, улица Зодчего Росси».

И иду к дому, в сторону Театра имени А. С. Пушкина. Подумалось, что я все-таки не убедил и даже, не желая этого, очень огорчил Ломоносова. Кажется, он с укором смотрит мне вслед и еще надеется, что я остановлюсь на пути к Черной речке, одумаюсь и еще смогу принести пользу своему народу.

Не скажу, что тот глубинный совет здравого смысла, который я прочел во взгляде Ломоносова, спас меня от рокового решения. Нет. Скорее он поколебал меня, посеял зерно сомнения. И, как знать, посмотри я только налево, остановись после этого лишь перед родительским домом — быть может, я окончательно

избавился бы от мысли возвратиться к Черной речке.

Но я бросаю взгляд прямо на театр, обхожу его с правой стороны, смотрю выше колонн, и... мелькает мысль: «А тех четырех коней на Аничковом мосту все-таки поймали и впрягли в колесницу. Все так же стремительно летит в ней бог Аполлон с большим венком в руке и все в ту же сторону. Господи, неужели ты и вправду можешь еще раз ошибиться и вручить этот красивейший венок тому режиссеру-хаму с обрызганной грязью тростью и душой?!»

От этой мысли мне снова становится не по себе. Отворачиваюсь, торопливо подхожу к дому, где родился, низко кланяюсь ему, как учил дедушка Егор, и твержу лишь одно: «К Черной речке! Быстрее к Черной речке! Только к Черной речке!..»

Смотрю, солнце уже почти у горизонта и стремительно клонится к закату. Спешу успеть добежать до тон речки, что все успокоит во мне: и позор, и обиды, и сомнения.

Бегу по Невскому проспекту на Петроградскую сторону, а мысли лихорадочно стучат: «Под колесницей Аполлона, под копытами коней я насчитал шесть высоких колонн, пять дверей. Здесь же — лира с двумя лебедиными шеями и клювами, гусли, нимфы, музы, ангелы с легкими крыльями, актеры... Боже ты мои, если бы ты знал, как же и мне хочется войти в этот храм, петь, играть, хотя бы одним пальчиком коснуться этих волшебных струн настоящего, высокого, божественного Искусства!.. Но над каждой дверью — голова свирепого льва с недремлющим зорким взглядом и пастью с большими острыми клыками, готовыми впиться в тебя в любую минуту. Не-е-ет, видно, пока стерегут эти входы львы, а цветы и венки преподносят хамовитым и невежественным служителям муз, мне никогда не войти артистом в двери храмов Театра и Кино...»

На Дворцовом мосту, ближе к Пушкинской площади, там, где Нева пересекается Стрелкой Васильевского острова, невольно останавливаюсь, пораженный необычным цветом реки.

«Никогда еще я не видел Неву такой черной, — думаю, держась за перила. — Не от туч ли это она такая? Или от надвигающейся ночи?.. А какая громадная воронка под мостом, где Нева, набегая, сталкивается с каменным быком! Как все бесследно засасывает эта жуткая воронка: листья, стебли, цветы! Вот плывет щепка, как корабль с высоко поднятым носом. Неужели и такую большую щепку водоворот затянет в себя? Щепка начинает кружиться: один круг, второй, третий... Вот она уже, как волчок, засасывается воронкой и исчезает, как в пропасти. Даже не выплывает под мостом?..»

Переवेशиваюсь через перила, чтобы увидеть, всплывет или не

всплывет щепка. То ли оттого, что я смотрел с высоты, как кружится щепка, то ли оттого, что без завтрака, обеда и ужина обессилел, но у меня вдруг так темнеет в глазах, что на какой-то миг теряю равновесие. Чувствую, как мои ноги отрываются от моста, и я начинаю переваливаться через чугунную ограду...

Кто-то сильными руками ловит меня сзади почти за пятки, вытаскивает на мост и громко ругает:

— Ты что, рехнулся? Жить надоело?! В какую сторону идешь?

— На Петроградскую.

— Значит, по пути.

Идем по вечерней Пушкинской площади, мимо бывшей Биржи труда вместе, а я нет-нет да и гляну на моего попутчика. В новой спецовке, слегка испачканной соляжкой или мазутом, высокий, широкоплечий, красивый, со светлыми вьющимися волосами парень.

«Вот уж на кого, — думаю, — тот режиссер не кшикнул бы и не обозвал дудоргой. Ему только в кино сниматься!»

Парень оказался к тому же добрым и общительным.

Разговорились, и я чистосердечно рассказал ему о моих неудачных попытках стать артистом.

— Нашел о чем печалиться, — добродушно хохочет мой новый знакомый. — Ты думаешь, на артисте свет клином сошелся? А я вот с детства мечтал стать, как мой отец и дедуля, рабочим «Красного путиловца». Стал им — и работаю в радость! Как тебя зовут?

— Павел.

— Павлик, приходи к нам работать.

— До этого еще надо дорасти.

— Нет, ты мне только на один вопрос ответь: хочешь быть рабочим? — спрашивает он, сворачивая от моста Строителей к парку Ленина.

— Кто же из нас не желал бы стать настоящим рабочим? Да, если хотите знать, это тоже моя самая тайная, давняя мечта! Папа, дядя Саня, учитель Феодосий Васильевич всегда с гордостью говорят о рабочем человеке.

— Вот и приходи к нам завтра на завод.

— А что я буду там делать в таком возрасте?

— Учиться и работать.

— Шутите?

— На полном серьезе тебе говорю. Завтра у нас — дополнительный набор в ШУМП.

— А что это такое ШУМП?

— Школа учеников массовых профессий.

— И кем же я могу стать?

— Мой тебе совет: учись на слесаря по ремонту двигателей внутреннего сгорания. Это... вроде доктора. Только лечить ты будешь автомобили, тракторы, комбайны, корабли, самолеты...

— И тракторы, и самолеты?!

— Конечно. У всех у них сердце одно — двигатель внутреннего сгорания. Ты представляешь. Павел? Если я, ты, все мы будем грамотно и честно работать, какие урожаи мы будем собирать, как далеко плавать и высоко летать!..

— Ну а я сам... смогу повести в поле трактор?

— А как же! Кто же лучше тебя, доктора, будет его знать?

— И в самолете смогу подняться в небо?

— Почему бы и нет? Да пойми же ты, чудак-человек: все от тебя зависит, от тебя самого! Были бы желание и воля, — крепко, как взрослому, жмет он мне руку и твердыми шагами, быстро удаляясь, идет по осеннему парку Ленина.

А я уже представил, как на Урале трактором пашу поле на глазах у радостного Феодосия Васильевича, парю в самолете над Бикбардой на глазах у ее изумленных жителей.

Спыхватываюсь, ищу взглядом рабочего с «Красного путиловца», а его уже за кронами деревьев не видно.

«Не почудилось ли это мне? — думаю, улыбаясь. — Не с неба ли спустился этот человек, чтобы вернуть мне Надежду и снова окрылить меня радостной Мечтой?»

Слово Сергея Мироновича

Не сомневаюсь, что дома к моему решению стать рабочим и мать, и отец отнесутся хорошо. Так оно и случается. И дело тут не только в том, что достатка тогда у нас в семье не было и у мамы каждая копейка была на счету. Просто к человеку труда, к людям заводов, фабрик, полей — к рабочему человеку — и стар и мал относились тогда с особым уважением.

Утром следующего дня беру документы — и на завод. В отделе кадров вежливо здороваюсь, подаю документы. Глянули в них — и возвращают мне:

— Рановато. Приходите через год.

Представляете, какой это для меня удар. Стою, слова сказать не могу: все во мне онемело.

А рядом снует мелюзга, мальчишки намного ниже меня ростом. Но их принимают, а меня нет. Не обидно ли?!

— Извините, — говорю, — но я отсюда не уйду, пока вы меня не примете!

— Это еще что за новость? — возмущается председатель комиссии по приему новых кадров.

— Вы ошибочно меня не приняли.

— Мы, выходит, слепые? В документе черным по белому написано, что вы родились 29 июля 1915 года, а мы принимаем тех, кто родился до 1914 года. И — по моложе.

— Да что вы все на мертвую бумагу смотрите? Вы на живого человека посмотрите! Ну, чем я хуже их, чем? — говорю запальчиво, схватив двух, к счастью, подвернувшихся под руки шкетов. — В метриках могли и ошибочно написать, но вы же видите!..

Все дружно смеются, а председатель говорит:

— А ведь он и правда выше их почти на голову. Такое желание быть рабочим! Прямо скажу: характер мне его нравится. Ну, как? Возьмем грех на душу?

— Возьмем, возьмем, — отзываются голоса.

Радость мою в то мгновение не описать. Еще бы!

С этой минуты я становлюсь полноправным учеником ШУМПа. Да где? На самом прославленном в мире заводе! Здесь я буду учиться, стану настоящим рабочим.

Начинаю учиться на слесаря по ремонту двигателей внутреннего сгорания, как мне и советовал молодой краснопутиловец.

А на заводе изготавливают тракторы «Фордзон-Путиловец». С ними меня знакомят, с ними я и начинаю общение, постигая их

сердце — двигатель внутреннего сгорания. Не потому ли у меня на всю жизнь осталась любовь к этой чудо-технике? К двигателю внутреннего сгорания я отношусь, как к живому существу, как к родному брату, с каким-то особым благоговением.

Да и иначе и не могло быть. Мы, ребята того времени, были прямо-таки влюблены в технику. Собственно, не так уж много мне было лет. Но помню, как я был горд в душе, что ношу рабочую спецовку, что у меня завернуты бубликом ее рукава. Нравилось, что у меня, как и у взрослых рабочих, слегка испачканы мазутом не только спецовка, но и мои щеки, вздернутый нос. Я любил отвинчивать, промывать, ремонтировать детали трактора. С той поры на всю жизнь полюбил запах солярки, керосина, бензина... Для меня было радостно уже одно то, что я просыпаюсь и иду на завод, на свой «Красный путиловец»!..

Однажды замечаю на заводе необычное оживление, слышу громкие радостные голоса:

— К нам Мироныч приехал!

— Сергей Миронович Киров приехал!

— Киров, Киров, Киров... — только и слышно в цехе.

Я еще тогда толком даже не знал, кто такой Сергей Миронович Киров. А он приехал открывать новый механический цех.

Естественно, это было в обеденный перерыв, в тот день он начался немного раньше. И конечно же, мне тоже захотелось посмотреть на человека, о котором так взволнованно и с таким уважением говорят. Опрометью бросаюсь в другой цех, куда, по разговорам, и придет Киров. Проталкиваюсь среди рабочих, ровесников-ребят: «Скорей! Не опоздать бы! Где же это? Быстреей!..»

Вижу, на фундамент поставлена станина, как постамент. Очень похоже на трибуну, удобное место.

«Поэтому, — рассуждаю, — на нее и встали люди, чтобы лучше разглядеть Кирова. Но место там еще есть. Только бы до прихода гостя успеть взобраться».

С трудом взобрался и я на этот постамент, во все стороны верчу головой, ищу глазами Кирова.

Какой-то человек в черной рубашке-косоворотке берет меня за плечо, говорит:

— Тихо-тихо ты, парень! Не дергайся. Упадешь. Стой здесь, стой!

И так крепко он сжал мое плечо, что я приутих и стал ждать, что же дальше произойдет.

Кирова так и не вижу, а председательствующий взволнованным голосом объявляет:

— Товарищи! Мы открываем новый механический цех... Первое слово предоставляется Сергею Мироновичу Кирову!..

И вдруг этот человек, который держит меня за плечо, чтобы я не дрыгался, снимает свою руку с плеча и говорит:

— Товарищи!..

Так начался митинг.

Я этого никогда не забуду! Это осталось в моей памяти, в моем сердце навсегда!

Да разве только в моем сердце? Когда нам становилось тяжело, все мы вспоминали это призывное, задушевное слово нашего Мироныча.

Досконально изучив и пощупав каждую деталь собственными руками, начинаю постигать и пробовать себя в мастерстве вождения. Как же я был горд, когда лучший тракторист на праздничном параде доверил мне на несколько минут штурвал новенького, собранного и моими руками, «Фордзона-Путиловца», и я сам повел его от Дворцовой площади до Музея Владимира Ильича Ленина!..

Ну а как все-таки удалось поступить в Ленинградский театральный институт и стать артистом? На этот ваш вопрос, мои дорогие читатели, обычно отвечаю долго. Но попробую быть кратким. Когда у человека в руках любимое дело, душа просит песни, музыки, поэзии. И как ты ни старайся отмахнуться, отгородиться, превратиться в молчаливого рака-отшельника — не выйдет! Жизнь все равно возьмет свое.

Так и меня жизнь, как говорится, взяла за руку и снова привела на театральное отделение художественной студии Петроградской стороны, словно кто-то говорил мне: «Любимое дело у тебя в руках есть, но душа просит праздника, театра. Ты не думай, что цель искусства только в том, чтобы самому петь, плясать, играть Леля и Ромео. Она еще и в том, чтобы уметь видеть, слушать, наслаждаться искусством. Что это ты так обиделся? Не взяли артистом? Ну и что? Тебя же не оттолкнули, осветителем приняли. Да, если хочешь знать, место осветителя — самое лучшее место в театре. С этой точки ты увидишь все лица героев и героинь. Более того: сам станешь творцом искусства. Не смейся! Красавицу ты можешь так осветить, что зритель зажмурит глаза, чтобы не видеть ее. А можешь цветной подсветкой из обыкновенной девушки сотворить красавицу такую, что люди засмотрятся на нее!.. Конечно, для этого надо мастерством осветителя овладеть, электротехнику на совесть изучить. Электротехник — это минер. Раз ошибся — и смерть тут как тут. Но ты же не боишься электричества. Ты еще учеником помогал электромонтеру свет в дома проводить. Ведь было же такое?

Было. Так чего же медлить? Тебе ли бояться труда?»

Так я и стал осветителем художественной студии Петроградской стороны. Днем — на «Красном путиловце», вечерами — в студии. Ребята и девчонки играют в спектаклях, а я их освещаю. Молодой руководитель театрального отделения переехал в Москву, его заменил пожилой человек — Арсений Дмитриевич Авдеев. В студию приходили другие ребята, ставились новые спектакли, а я все продолжал работать со светом.

И вот однажды Арсений Дмитриевич начал работать над пьесой, где простой деревенский парень должен был петь под гармонь залихватские частушки. Сколько ни пробовали — не получается.

— Да что вы, соколики мои? — взмолился руководитель. — Неужели вы никогда не слышали и не видели, как вечерами гуляют в деревне...

— А кто из нас ее видел, деревню? — оправдывается за своих студийных друзей-актеров неудачный герой-любовник.

Арсений Дмитриевич, как может, буквально на пальцах, объясняет и даже показывает, как должен держать деревенский парень гармонь, как перебирает пальцами пуговики своей певучей подруги-гармони, как звонким голосом запекает.

Снова муки творчества — и снова каждому видно, что не живут артисты этим образом, а, что называется, вымучивают его.

— Какой ужас! Какой кошмар! — сокрушается наш режиссер. — Мне страшно поверить, что среди моих учеников нет ни одного, кто бы по-настоящему знал народную глубинку, волжские, уральские диалекты.

И тут почти все ребята, за исключением новичков, оборачиваются в мою сторону, смотрят на меня.

— А ты, осветитель, не попробуешь? — предлагает Арсений Дмитриевич. — Некого больше пробовать. А вдруг получится. Выручай, Павел!

Оставляю прожектор с цветофильтром, медленно подхожу к ребятам, а в мыслях уже в Бикбарде. Вспоминаю, как вечерами парни с гармошкой проходили мимо наших окон и всегда начинали припевки с одной и той же, совершенно безобидной, даже какой-то извиняющейся частушки:

Мы по улице пройдем —

Не судите, тетушки.

Мы девчат ваших не тронем —

Спите без заботушки.

А потом начинали петь такое, что бабушка Гарутина затыкала уши и нещадно бранилась:

— О, пермяк солены уши! Да как же ты можешь такое горланить на все село, идол? Креста на тебе, что ли нет? Как ты можешь так припевкой своих девчат обижать?!

Мама, бывало, хохочет, успокаивает ее:

— Зря ты сердишься. Это же ведь жизнь!..

— Да какая тут в чертях жизнь? Так горланят, что никакой жизни от них нет! О, греховодники! Чтоб на том свете черти на вас воду возили!..

Бабушка Тарутина называла такие частушки «солеными». Едва запоют ребята в другой вечер — она уже закрывает форточку:

— От них, греховодников, кроме соленого да малосольного, больше ничего путного не услышишь... А девки наши тоже хороши. Парни их на весь Урал позорят припевками, а они развесили уши и слушают. Вот срамota-то! Господи, прости мою душу грешную...

— Почему же? — смеется мама. — Вы послушайте хорошенько, послушайте. Девчата им тоже не уступают: и частушки задиристые, и голоса. Ах, как поют! Так бы вышла сама и подпела!..

— Не дури! — не на шутку расходится строгая бабушка. — И дверь сейчас на замок запиру, чтобы не искушали тебя все эти греховодники. Господи, что на свете делается, что делается? Срамota!..

— Теперь уже можно открывать, — улыбается мама. — Помирились они. Видишь, все вместе какие ласковые частушки запели, слышишь?

Бабушка открывает форточку, прислушивается и тоже расплывается в улыбке:

— И правда, ласковые. С этого вам, пермяки солены уши, и начинать надо бы. Давно бы так!

Воображение сразу переносит меня и на те зимние бикбардинские «катушки», где под частушки и хохот с горы вместе с санками летят огненные, набитые смоляной паклей колеса и кадки. Вспоминаю радостный праздник Ивана Купалы, когда все с удалью и хохотом прыгают через костер.

— Трудно решиться? — спрашивает Арсений Дмитриевич.

— Да нет, — отвечаю. — Просто думаю, какие частушки вам спеть. Ведь у нас, на Урале, они делятся на три сорта: соленые, малосольные и ласковые. Какие спеть?

— Да хоть перченые! Лишь бы на пользу дела, — благословляет руководитель.

Возможно, Арсений Дмитриевич сказал это в шутку, но тогда я принял его слова как руководство к действию и запел:

Мы по улице пройдем —
Не судите, тетушки.
Мы девчат ваших не тронем —
Спите без заботушки.

Потом перешел к малосольным, солоноватым и добрался до крепко соленых и перченых. Бабушка Тарутина все-таки была права — петь их, как она говорила, «вселюдно» не стоит: никакой, даже самый добрый редактор, их не пропустит, А если и пропустит редактор, то, вероятно, печатные станки рассыплются на части от хохота. Пою, а все до упада, взявшись за животы, хохочут. Завершаю частушки точь-в-точь так, как бикбардинские ребята и девчата поздно вечером: ласковыми припевками:

Над рекою идут двое,
Мы счастливые с тобой.
Твой — в лазоревой рубашке,
Мой залетка — в голубой.
Покатилась кадка —
Целоваться сладко.
Покатилось колесо —
Целоваться хорошо.
Пролетел воробей —
Целоваться не робей.
Эх!..» —

лихо заканчиваю частушки-веселушки.

— Молодец! — восторженно одобряет Арсений Дмитриевич. — Вот она, народная жажда любви, радости и счастья!.. А вы что мне мямлили, дети каменных, домов и сердец?! Спасибо, родной! От всего тебе сердца спасибо!.. Репетиция закончена. Все — свободны. А ты, Павлик, останься: хочу с тобой по душам поговорить.

Все расходятся. Остаемся вдвоем, и, положив мне руку на плечо, руководитель говорит:

— Есть у Федора Ивановича Тютчева такие четыре строки:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —

В Россию можно только верить.

Я всегда верил в Россию, в ее, пока еще мало осознанные миром, силы природы... Мне один заезжий артист-иностранец так и сказал: «Тебе нравится эта строфа у Федора Тютчева, а мне — его другие строфы. Я больше всего люблю строфы его «Фонтана».

Смотри, как облаком живым
Фонтан сияющий клубится;
Как пламенеет, как дробится,
Его на солнце влажный дым.
Лучом поднявшись к небу, он
Коснулся высоты заветной —
И снова пылью огнецветной
Ниспасть на землю осужден.

О смертной мысли водомет,
О водомет неистощимый!
Какой закон непостижимый
Тебя стремится, тебя мятет?

Как жадно к небу рвешься ты!..
Но длань незримо-роковая,
Твой луч упорно преломляя,
Свергает в брызгах с высоты.

«Чем же вам нравится это стихотворение?» — спрашиваю иностранца. А он мне со всей прямоотой: «Тем, что в нем — правда». — «Какая, — спрашиваю, — правда?» — «А та, — отвечает, — что России никогда не подняться к небесам. Самой судьбою уготована ей участь ползать и пресмыкаться. И попробуйте поднять голову — мы тут же ее обрубим!»

— Так и сказал? — переспрашиваю Арсения Дмитриевича.

— Так и сказал.

— И что же вы ему ответили?

— А я так и ответил ему, что верю не этим шестнадцати строкам, а тем, четырем. Правду не надо путать с истиной, господин хороший. А истина в том, что Россия, моя страна, желающая всему миру добра и счастья, не может не подняться до небес, и хотите вы того или нет, но ее сыновья и дочери рано или поздно поднимут голову и еще скажут свое слово и в науке, и в искусстве!..

— Не тому ли, Арсений Дмитриевич, сказали вы это

режиссеру, что не принял меня даже в массовую сцену?

— Этого быть не может! — удивляется он.

— Честно говорю вам, Арсений Дмитриевич. Он не только не взял меня в массовку, но еще и на глазах у матери и перед всеми школьниками опозорил меня.

— Как?

— Кшикнул на меня, сказал «Брысь!» и вдогонку выпалил: «Тебе никогда не быть артистом!..»

— Так и сказал?

— Так и сказал... на ломаном русском языке.

— Боже мой, какое дикое хамство! — качает головою Арсений Дмитриевич. — Но, думаю, дело здесь не только в этом. А в том, чтобы не дать живому роднику России пробиться из земли и забить мощным красивым фонтаном. Ты будешь артистом, Павел, будешь! Поверь мне, старику.

— Да что вы, Арсений Дмитриевич? — отвечаю, смущенный. — Вы же сами видите, как я окаю по-уральски.

— И прекрасно! — вдруг совершенно неожиданно слышу его одобрение. — Настоящий артист должен все диалекты своего народа знать. А как же иначе? Скажем, в этой пьесе или в каком-нибудь фильме будешь играть уральского парня. Как же тут без уральского говора обойтись? Другому надо его осваивать, постигать, а ты им уже владеешь. Это же хорошо!

А представь, что тебе доверили сыграть роль Горького. Без постижения волжского диалекта правдивый образ автора «Буревестника» не создать. Ты просто обязан будешь научиться так же говорить. Это только невеждам кажется, что говоры эти одинаковы, так как и тот и другой с особым почтением относятся к звуку «о». Волжский говор нельзя путать с уральским. И уж совсем иной наш северный, скажем, архангельский говор. Разве это плохо, что наш русский язык, как полевой букет из разных цветов, вобрал в себя красоту, певучесть и мудрость многих говоров народа?

— Думаю, что хорошо.

— То-то и оно, что хорошо. И в этом наше богатство.

— А ленинградскому и московскому говору могу научиться?

— Медведя отплясывать научили. А тебе, будущему артисту Павлу Кадочникову, да не научиться всем говорам родного языка? Научу! А чему не научу — институт театральный доучит:

— Вы все это... серьезно, Арсений Дмитриевич? — спрашиваю. — Не ошибаетесь ли во мне?

— Не в том я уже возрасте, Павлик, чтобы ошибаться и такие слова на ветер бросать. Поверь мне: ты рожден стать артистом!.. А мне, видно, сама судьба за долгое терпение послала такого

ученика. Но талант расцветает только благодаря труду и воле. Талант и труд — братья, а воля — их родная сестра. Вот это запомни, Павел, на всю жизнь!

Осмысливая свой жизненный и творческий путь, часто задумываюсь: как мог тогда Арсений Дмитриевич в деревенском, неуклюжем, по-уральски окающем мальчишке разглядеть будущего артиста? Для этого, конечно же, надо обладать добрым сердцем, талантом педагога и какой-то удивительной проницательностью. И какое же счастье, что в годы мучительных поисков своего пути мы встречаем в жизни таких людей!

Я глубоко благодарен всем моим преподавателям в театральном институте. Но туда надо было еще подготовиться, поверить в себя и поступить. В этом мне помог тогда чудесный педагог. Вот почему в своей собственной судьбе я всегда вижу Арсения Дмитриевича Авдеева рядом с Антониной Васильевной Харловой и Феодосием Васильевичем Виноградским.

И вот я — студент театрального института. На занятия, как и многие мои сверстники, каждый день хожу пешком. Жили мы тогда на той же Петроградской стороне, только уже на улице Рентгена. Маршрут шагами изучил до минуты. Выхожу на Каменноостровский проспект, сворачиваю налево, иду мимо парка Ленина, площади Революции, через мост, Марсово поле, прохожу мимо цирка, через мостик на Фонтанке и налево сворачиваю к институту по ставшей теперь тоже родной для меня Моховой улице.

Сколько раз утром, выходя от улицы Рентгена на Каменноостровский проспект, видел, как из дверей противоположного дома выходит широкоплечий, коренастый человек с красивым лицом, высоким лбом, зачесанными назад волосами и направляется в ту же сторону, что и я.

Он, тепло улыбаясь, здоровается на пути с дворником, садовником, водопроводчиком — со всем рабочим людом. Все узнают его и так же сердечно отвечают:

— Здравствуйте, Сергей Миронович!

— Здравствуй, Мироныч!..

Всегда узнаю его и я, но, стесняясь, никак не решусь с ним поздороваться, тем более напомнить о той встрече на «Красном путиловце». Чуть приотстав, иду следом и радуюсь тому, как прост он со всеми, доступен каждому и как любит его народ. Не зря же потом, когда, к великому несчастью, его не станет, наш завод назовут Кировским, этот мост — Кировским мостом, а этот проспект — Кировским проспектом.

Однажды иду, как всегда, в институт по Каменноостровскому проспекту. Спешу утром на первую лекцию, почти не замечаю

никого. Одна мысль: «Не опоздать!» У парка Ленина, как раз около памятника «Стережущему» (а это я совершенно точно помню), вижу Сергея Мироновича Кирова. Он стоит и разговаривает с каким-то очень высоким бородатым человеком. Проходя мимо, я вижу, как Киров почему-то обращает на меня внимание:

— Здравствуй!

— Здравствуйте, Сергей Миронович!

— Ты что тут делаешь?

— Живу рядом.

— По-прежнему на заводе?

— Нет.

— А почему?..

Он еще что-то говорит мне.

Стою смущенный и, как бы извиняясь, произношу:

— Я поступил в театральный институт.

— Молодец! Молодец! — говорит Киров и возвращается к разговору с бородатым человеком.

Знал бы Сергей Миронович, что значило для меня это его «Молодец!». Оно и окрылило меня, и убедило, что труд артиста не менее необходим людям, чем труд рабочего, а значит, трудиться мне надо и здесь в полную силу.

Моя друзья! Знаю, что многие из вас мечтают стать артистами. Поэтому так откровенно я и рассказал вам, что случилось со мной на долгом жизненном пути, какая радость и какое счастье ждут человека в награду за верность мечте и упорство в достижении цели. И вот вам мой совет: какие бы ни встретились трудности — не отчаивайтесь! Постарайтесь как можно быстрее прочно встать на трудовой путь. Убежден: он вернее всего поможет найти каждому из вас свою дорогу в жизни. Главное — не топтаться на месте, а идти к цели. Что ж, в добрый путь!

Оставайтесь молодыми

Жажда доброты

В начале семидесятых годов я как режиссер-постановщик перенес на экран киносказку «Снегурочка».

Судя по письмам, которые до сих пор получаю от зрителей, фильм этот вам понравился. Часто повторяется вопрос, как возникла сама идея этой кинокартины. Объясняю все страстным стремлением каждого из нас к доброте. Доброту ощущаю в каждом вашем письме, каждой строчке.

Что ж, видно, действительно пришла пора вместе с вами глубоко поразмыслить над этой вечной и в то же время так необходимой сейчас любому из нас духовной ценностью человека.

Думается, нет надобности подробно останавливаться на том, что «Снегурочка» Александра Николаевича Островского считается гордостью отечественной драматургии. Это хорошо известно вам и не требует никаких пояснений.

Но не только сам факт признания произведения народом побудил меня обратиться к этой теме.

Мне показалось крайне важным именно сегодня, в наш бурный, стремительный век обратиться в первую очередь к юности с поэтической проповедью высоких нравственных ценностей, красоты человеческих чувств. Обратиться с картиной, в которой хотелось воскресить, к великому сожалению, во многом забытые и утраченные богатства национальной русской культуры.

Величие и сказочную красоту природы как один из главных элементов пьесы можно более впечатляюще представить в кинематографическом решении, думалось мне. А поэтический рассказ о гармоническом слиянии человека с природой? Это же необходимейшее условие для ощущения полноты и радости жизни! Пусть человек и через природу познает и впитывает добро. Пусть учится у нее быть красивым и мудрым. Пусть полюбит землю, дающую хлеб. Пусть заслушается пением птиц. Пусть радуется, страдает от жажды любви. И пусть человек влюбляется в жизнь!

Глубоко убежден: труднейшую задачу воспитания чувств можно и должно разумно и тонко решать более активным приобщением молодого человека к прекрасному, к природе. И я видел, что этой задаче в полной мере отвечает «Снегурочка» А. Н. Островского. Ведь сказка эта о могучей, вечно обновляющейся красоте природы и, я то же время, о глубоких человеческих чувствах, сокровенных стремлениях и высокой мечте.

Свою задачу я видел в том, чтобы, взяв за основу пьесу Островского, углубиться в ее философию, развить ее, насколько это возможно, с учетом сегодняшнего и завтрашнего дня.

В своей работе над «Снегурочкой» А. Н. Островский, как известно, талантливо воспользовался трудом Александра Николаевича Афанасьева «Сказка и миф», где «Снегурочка» дается как миф о происхождении облаков: «В зимнюю пору, когда облака из дождевых превращаются в снеговые, прекрасная облачная дева нисходит на землю, в мир, заселенный людьми, и поражает своей нежной белизной, падая на поля в виде снега. С приходом же лета — она приобретает новый, воздушный, образ и, удаляясь с земли на небо, носится там с другими легкокрылыми нимфами».

Разумеется, очень интересно знать представления древних об обыкновенных явлениях природы. Но меня, да и вас, прежде всего волнуют взаимоотношения людей в сегодняшней нашей действительности. Человек и действительность. Человек действующий, жаждущий, стремящийся и ошибающийся, веселый и горестный, сомневающийся и все-таки не сдающийся, ищущий и идущий!

Кому, как не ему, сегодняшнему творцу и жизнелюбу, должны принадлежать слова Берендея:

Снегурочки печальная кончина
И страшная гибель Мизгиря
Тревожить нас не могут; Солнце знает,
Кого карать и миловать. Свершился
Правдивый суд! Мороза порожденье —
Холодная Снегурочка погибла.

.....

Изгоним же последний стужи след
Из наших душ и обратимся к Солнцу.

В этой высокой мудрости слов Берендея достаточно ярко выражена идейная концепция всего произведения.

«Снегурочка» написана Островским великолепным языком, в стихотворной форме и была задумана как праздничная феерия в четырех действиях для трех театральных коллективов: оперного, балетного и драматического.

Односерийный фильм обычно идет немногим больше часа. Следовательно, неизбежны сокращения в ходе переложения пьесы на язык кинематографа. Сокращения значительные, но осторожные и далеко не формальные, а лишь с целью выявления авторской мысли драматурга.

В этом — одна из причин, почему начинаю фильм не с

пространного пролога, насыщенного яркими, поэтическими монологами Весны и Мороза, сопровождаемыми хором птиц. Начинаю сразу же с главного действующего лица — Снегурочки.

Прочертив яркую дорожку в синеве холодного северного неба, падает звезда — как символический знак начала сказки, рожденной самой природой.

И вот мы уже в лесу. Предельно внимательное зоркое око кинообъектива, а вместе с ним и взгляд зрителя рассматривает действительно сказочно красивый зимний лес, рассказывает языком образов о владениях повелителя вьюг и метелей Мороза.

Среди снегов, в глухих чащобах, на поваленном буреломом дереве сидит запорошенная снежинками одинокая фигурка девушки. Она освещена неярким мерцанием лунного света.

Треснуло от мороза дерево, прокричала ночная птица — девушка остается безучастной ко всему. За пятнадцать лет жизни в одиночестве, спрятанная от теплых лучей Солнца, она привыкла к этому. Ночная жизнь леса ее вовсе не беспокоит. Даже отделившееся от корней деревьев неведомое страшное живое существо, возвестившее о приближении Весны, не производит на нее впечатления.

Но это первое знакомство со Снегурочкой, весь ее облик не могут не взволновать зрителя. Нас охватывает чувство не просто праздного любопытства, но беспокойство и даже тревога за ее судьбу: «Почему ей не страшно одной в лесу? Почему она грустна? Кого она ждет? Что с ней будет?»

Современники Островского справедливо видели в этой сказке одновременно правду и выдумку, истину и фантастичность.

Мы понимаем, что прилет птиц — верный признак приближения Весны. А вот и сама Весна-Красна. Мы видим ее и слышим полный грусти голос:

И всё лишь свет, и всё лишь блеск холодный,
И нет тепла. Не так меня встречают...

.....

Но я люблю полунощные страны.
Мне любо их могучую природу
Будить от сна и звать из недр земных
Родящую таинственную силу,
Несущую беспечным берендеям
Обилье жит неприхотливых. Любо
Обогревать для радостей любви...

И, как ответ Весне, мы видим счастливых берендеев в последнюю ночь масляной недели. Здесь — счастье, любовь,

тепло, веселье.

Мне казалось, такая заповка фильма, если так можно выразиться, наиболее точна и кинематографична. Ведь здесь сразу сталкиваются два полюса — тепло и холод. И это столкновение добра и зла, тепла и холода, думается, и должно составить предмет нашего пристального изучения. В них, в вечной схватке и существовании, единстве и борьбе противоположностей, самая загадка жизни, проблема нашего бытия.

Сознательно хочу остановиться несколько подробнее на начале картины — сцене встречи Весны и Мороза. Как же решать это столкновение двух природных сил, двух противоборствующих начал, в вечной борьбе которых все мы усматриваем или хотим усмотреть людские страсти, человеческие чувства? Как в волшебную ткань сказки должны войти люди, артисты, исполняющие роли Мороза и Снегурочки? Ведь они должны образно и как можно выразительнее воплотить идейные замыслы авторов.

Вот здесь, думается мне, уместно сказать, что само очень милое слово «Снегурочка» часто у многих вызывает лишь представление об украшенной игрушками новогодней елке, о Деде Морозе с ватной бородой и мешком за плечами, о Весне в платье из зеленой марли.

Но, друзья мои, согласитесь: такое представление о Снегурочке не имеет никакого отношения к гениальному произведению Островского и созданному им изумительному образу дочери Мороза и Весны.

Конечно, можно было бы избежать такого рода ассоциаций, заставив как-то более живо общаться двух непохожих людей с именами Весна и Мороз — с разными темпераментами, взглядами на жизнь. Но ведь у Островского они все-таки не люди в полном смысле этого слова, а стихии, силы природы, олицетворяющие человеческие чувства. Поэтому вся сцена и внешне должна предстать перед нами как некая борьба стихий — самих человеческих чувств.

Вот почему в окончательном изобразительном решении этой сцены, уже на экране, Мороз появляется перед нами не просто дедушкой в валенках, обряженный в соболью шубу, с мешком за плечами, наполненным подарками. Сначала мы слышим только его голос, прорывающийся сквозь вьюгу. Перед Весной он возникает вдруг, из вихря. Точнее говоря, сказочность я ищу и нахожу ее в натуральности самой природы, беру у нее адрес и даже наиболее сложные моменты и подробности.

Это побудило меня отказаться и от того, чтобы сажать Весну

на летящих лебедях, и от того, чтобы посадить Снегурочку верхом на медведя, к чему все мы, зрители, так привыкли.

— Снегурушка, дитя мое! — долетает голос отца, Мороза, в глухую чащобу.

Но пусто у поваленного дерева, где сидела Снегурочка. Нет ее и в овраге, и в занесенном снегом тереме. Видны лишь маленькие следы, уходящие от нас неровной цепочкой. Снегурочка стоит на опушке леса. Такое появление проще, но не менее сказочно, чем полет на ковре-самолете. А главное — это лучше всего соответствует логике, стилю художественной образности фильма.

Конечно же, меня очень волновал вопрос, будут ли созвучны, совместятся ли, уживутся ли эти первые — сказочные! — сцены фильма с последующими кадрами картины? Ведь в них будут действовать обыкновенные люди, подсмотренные Островским в Щелыкове, его «творческой лаборатории» на берегах Куекши, Сендеги, в Ярилиной долине.

Хотелось верить, что совместятся. В таком решении истинность и фантастичность в конечном результате должны стать единым целым.

Но давайте задумаемся в ремарку Островского: «Действие происходит в страде берендеев в доисторическое время».

Что же это за страна берендеев? Недалеко от усадьбы писателя раскинулось Берендеево болото. Существует предание, что именно в этом месте когда-то был Берендеев посад, где люди жили только правдой и совестью. Выходит, не такие уж они обыкновенные люди. Да и сам драматург, говоря о щелыковцах, утверждает, что он не видел среди них ни одного человека из прошлого.

Следовательно, это предание и наблюдения над щелыковцами натолкнули Островского на мысль сочинить, выдумать берендеев и Берендеево царство.

А как понимать слово «доисторическое время»?

Судя по пьесе, это время, когда люди поклонялись Перуну, Громику, Яриле. Значит, адресом стилизованного решения картины должен стать дохристианский период славян. Века, столь отдаленные от нас, жителей двадцатого столетия! И, разумеется, если удастся приблизиться к ним, увидеть их с художественной позиции, а не только этнографически, едва уже само по себе должно выглядеть сказкой, которая продолжает нас волновать и сегодня.

Итак, мы в сказочном Берендеевом посаде. Сюда Снегурочка, унаследовавшая от отца Мороза холодное сердце, а от матери Весны — тягу к людям, пришла искать счастье!

Правда, Снегурочка хорошо понимает, что не так-то просто ей стать счастливой:

Моя беда, что ласки нет во мне.
Толкуют все, что есть любовь на свете,
Что девушке любви не миновать;
А я любви не знаю; что за слово
«Сердечный друг» и что такое «милый»,
Не ведаю. И слезы при разлуке,
И радости при встрече с милым другом
У девушек видала я; откуда ж
Берут они и смех и слезы, — право,
Додуматься Снегурочка не может.

И все же, надеясь, она говорит приютившим ее Бобылю и Бобылихе, очень желающим выдать ее замуж:

Коль правда то, что девку не минует
Пора любви и слез по милом, ждите,
Придет она.

Всем нам интересно знать, в чем же видят берендеи счастье.

Работы они не боятся. Более того, они любят растить и собирать урожай, умеют высоко ценить красоту в природе, в людях. Поэтому и живут в чистоте и достатке. Но любят они и песни, веселье, шумные праздники с хороводами, пляской. Впрочем, давайте об этом узнаем, как говорится, из первых уст — слушаем самого Берендея:

Веселое гулянье! Сердцу радость
Глядеть на вас. Играйте, веселитесь,
Заботы прочь гоните: для заботы
Своя пора. Народ великодушный
Во всем велик — мешать с бездельем дело
Не станет он; трудиться, так трудиться,
Плясать и петь, так вдоволь — до упаду.
Взглянув на вас разумным оком, скажешь,
Что вы парод честной и добрый: ибо
Лишь добрые и честные способны
Так громко петь и так плясать отважно.
Спасибо вам на песнях и на пляске!
Уж тешиться, так тешиться! Пляшите...

Но вот среди берендеев появляется Снегурочка, и весенний день в тихой заречной слободке становится серым, пасмурным; содрогается и того гляди рухнет привычный уклад счастливой жизни берендеев. Туча пока лишь приближается, но мы уже видим, чувствуем ее грозное дыхание.

На мостках у воды радостная Купава делится со Снегурочкой своим сокровенным — рассказывает о своем женихе, Мизгире, и простодушно просит: «Порадуйся со мной!» Снегурочка целует новую подругу — добрую Купаву. И, переполненная радостью, Купава приглашает ее повеселиться: «Круги водить пойдем на Красной горке».

А в это время слободские парии, возившиеся на берегу у лодки, сразу же бросают работу. Завороженные красотой Снегурочки, они не могут оторвать от нее взглядов. Но мы уже видим, как подружки этих парней — Радушна, Заряна и Малуша — ревниво косятся на Снегурочку.

Пока еще ничего не произошло, но зрители уже чувствуют, как между действующими лицами, говоря языком драматургов, назревает конфликт. Появление Снегурочки среди берендеев вносит между ними разлад. Введение этой сцены необходимо: мы начинаем чувствовать и понимать, как с каждым шагом, каждым действием, каждым словом наших героев все туже затягивается конфликтный узел.

Живя у Бобылей, Снегурочка не только вносит разлад между берендеями, по и невольно рождает у приемных родителей корыстные побуждения, стремление жить за чужой счет.

Чего добиваюсь я, режиссер, в этих сценах? Думаю, вы и сами догадываетесь — продолжаю усиливать напряженность действия. Все зрители уже ясно чувствуют нарастание конфликта.

А что же царь берендеев? Да и каков он? Давайте внимательно присмотримся к нему.

Итак, мы — в палатах Берендея. Обычные ли это царские палаты, изображаемые в сказках? Да нет же! Это такая же изба, как и у других берендеевцев. Только пошире да покраще.

Да и сам Берендей не очень-то отличается от жителей посада. Разве что вышивкой на холщовой рубахе Ярилы-Солнца.

Но заглянем в глаза Берендея, и мы увидим в них больше доброты, мудрости, озабоченности и даже тревоги, чем у его соотечественников.

Берендей — не тот царь, что смолоду был грозен и «соседям то и дело наносил удары смело». Ни смолоду, ни теперь он не занимается ратными делами. Берендею чужды «кровавые дела войны».

Берендей — труженик, философ, уверенный в том, что мир

держится только Правдой и Совестью.

Берендеева держава — это мечта народа о сказочной стране, где властвуют Доброта, Справедливость, Красота, Искусство, Любовь, где люди свободны, веселы и счастливы.

И всем вам, как и Островскому, хочется видеть Берендея именно таким, олицетворяющим народную мудрость. Он защитник мира, всех сирот заступник, он печется о благополучии народа.

Законы киносценария побудили меня внести некоторые изменения в композицию «Снегурочки». У Александра Николаевича Островского царство Берендея представлено во втором действии. В киносценарии же они разбиты на два объекта и три сцены.

В первой сцене, как мы уже видели, царь сетует на сердечную остуду своего народа. Затем происходят события в Берендеевке, подтверждающие его догадки. Горькая обида Леля. Разрыв между парнями и девушками. Тревожная ночь, где мы видим Снегурочку в Берендеевом посаде такую же, как в лесу, одиноко сидящей на крыльчке Бобылей.

Далее — утро, приезд Мизгяря. И — снова Берендей.

В этой, второй сцене, продолжая развивать мысль, что все беды в стране происходят от душевного холода его подданных, царь узнает от Бермяты, что причиной остуды и отчужденности берендеев является Снегурочка:

Не гневайся! Невесты
Рассорились до драки с женихами.
Уж где женить! На сажень маховую
Не подведешь друг к другу.

Царь: Из чего?

Бермята: Какая-то в заречной слободе
Снегурочка недавно объявилась.
Передрались все парни за нее.
На женихов нажились невесты
Из ревности; и брань идет такая —
Усобица, что только руки врозь!

И, наконец, в третьей сцене от убитой горой Купавы царь узнает о совершенно неслыханном в Берендеевом царстве — об измене Мизгяря.

И царь, несмотря на свою удивительную доброту, принимает — он вынужден это сделать! — строгое решение:

Приспешники, ищите по посаду

Преступника; поставьте Мизгиря
На суд царев.

Мне думается, такое композиционное решение киносказки «Снегурочка» более усиливает напряженность драматургии.

Итак, мы с вами условились, что есть такая страна, где народ отличается крепкими моральными устоями. В этой стране любовь чтут как выражение самых лучших чувств человека, его служение красоте. Здесь любовь свободна и независима от корыстных побуждений.

Но вот в Берендеевом царстве появляется Мизгирь — торговый гость, жених Купавы.

Случайно ли Купава — красивая, добрая, умеющая любить девушка — избирает его женихом, хотя рядом так много веселых парий? Разумеется, не случайно. Но тогда чем же отличается Мизгирь от берендеевских ребят? Ведь и среди них есть веселые и талантливые, как, скажем, любимец не только царя Берендея, по и самого бога Ярилы-Солнца — певец вечной Весны и Радости красавец Лель!

Мизгирь, каким вы его видите в киносказке, это не просто человек, занимающийся торговыми делами. Он, и это мне хотелось в фильме подчеркнуть прежде всего, отважный, много повидавший на своем пока еще коротком веку, очень красивый молодой человек.

Каков характер этого заезжего гостя? Судя по его поступкам, очень отличен он от наших берендеевцев. Если симпатичные берендеи наивны, непосредственны, как дети, скромны в одеждах, то Мизгирь — полная их противоположность.

Скажите, например, почему слободской силач Брусило отказывается вступить в единоборство с заезжим гостем, хотя и оскорблен Мизгирем? Что, разве Брусило чувствует себя физически слабее этого заезжего гостя? Нет. Брусило ошеломлен и сражен решительностью Мизгирия, его смелостью, темпераментом, необычным, диковинным для берендеевцев поведением.

А внешней вид, одежда? Разве они не в диковинку и девушкам, и парням Берендеева царства? Разве легкие латы, короткий меч у пояса, яркая накидка и диковинные заморские сапоги не могут поразить и привлечь к себе девушку из Берендеевой слободы?

Но горе Купавы, ее большая беда — но не вина! — в том, что она застигнута врасплох, совершенно не подготовлена к заведомой лжи и вероломству Мизгирия. Только что он клялся в

любви Купаве, домогался ее сердца — и вот уже, не стыдясь ни подруг, ни друзей Купавы, он обнимает Снегурочку и говорит ей о своем чувстве.

И каким же в высшей степени справедливым считаем все мы приговор Мизгирию, вынесенный мудрым Берендеем при всем честном народе:

Честной народ, достойна смертной казни
Вина его: но в нашем уложении
Кровавых нет законов, пусть же боги
Казнят его по мере преступленья,
А мы судом народным Мизгирия
На вечное изгнание осуждаем.
Иди от нас, преступник, поругатель
Горячности доверчивой любви,
Внушенной нам природой и богами.
Гоните прочь его от каждой двери,
От каждого жилья, где свято чтутся
Обычаи честные старины!
В пустыню, в лес его гоните! Звери —
Товарищи тебе по сердцу; сердце
Звериное с зверями тешь, Мизгирь!

Создавая свою «Снегурочку», Островский взял за основу народную сказку. Он сделал главной темой пьесы тему любви, наполнил ее новым содержанием, фантастический элемент соединил с реальным бытом. С топ только разницей, что в «Снегурочке» проблемы нравов и быта получили у драматурга философское звучание не столько конкретное, сколько обобщающее.

И если говорить о том, что Мороз и Весна — это и какой-то мере как бы одетые в природу, в стихию человеческие чувства, то что же все-таки являет собой их дочь Снегурочка?

В образе Снегурочки Островский и мы в своем фильме тоже стремились показать не только заимствованный из народной сказки, по во многом взятый из реальной жизни внешний облик, характер человека. Снегурочка пленительно красива, скромна и трудолюбива.

Но разве таких девушек нет в Берендсевке? Конечно же, есть. Тогда чем же отличается она от Купавы, Радушии и других девушек?

Отличается самым главным, чтобы стать человеком: у Снегурочки нет человеческого тепла, нет сердца — да, того самого сердца, что способно к живому восприятию впечатлений, к

вдохновению и любви.

Даже страстные песни Леля, несущие в себе любовь и радость жизни, бессильны тронуть ее холодное сердце. И Лель — нет, не просто огорченный, а убитый горем! — бежит от Снегурочки. Куда же? А туда, где хороводы, песни, радость, улыбки, — туда, где жизнь!

Да, жизнь есть здесь, куда прибегает от Снегурочки Лель. А счастье? В том-то и горе красивого и талантливое Леля, что и здесь он не находит счастья. Ведь для того чтобы быть счастливым, необходима та, которую любишь всем сердцем.

Постепенно и Снегурочку захватывает чувство любви.

О мать, Весна-Красна!
Бегу к тебе и с жалобой и с просьбой:
Любви прошу, хочу любить! Отдай
Снегурочке девичье сердце, мама!
Отдай любовь иль жизнь мою возьми!

Возможно, это лишь мимолетное желание? Мучительно для Снегурочки длится последняя весенняя ночь, а жажда доброты, жажда любви в ней не угасает:

Родимая, в слезах тоски и горя
Зовет тебя покинутая дочь.
Из тихих вод явись — услышать стоны
И жалобы Снегурочки твоей.

Может ли такие слова не услышать мать? Может ли на такие мольбы не откликнуться материнское сердце? Конечно же, мать Весна услышала, откликнулась и явилась:

Снегурочка, дитя мое, о чем
Мольбы твои? Великими дарами
Могу тебя утешить на прощанье.
Последний час Весна с тобой проводит,
С рассветом дня вступает бог Ярило
В свои права и начинает лето.

Мать Весна-Красна приближается, вот уже подходит к дочери и спрашивает;

Чего тебе недостает?

Исповедь Снегурочки невозможно без волнения слышать и видеть:

Люби!
Кругом меня все любят, все счастливы
И радостны: а я одна тоскую.
Завидно мне чужое счастье, мама.
Хочу любить — но слов любви не знаю,
И чувства нет в груди; начну ласкаться —
Услышу брань, насмешки и укоры
За детскую застенчивость, за сердце
Холодной. Мучительную ревность
Узнала я, любви еще не зная.
Отец-Мороз и ты, Весна-Красна,
Дурное мне, завистливое чувство
Взамен любви в наследство уделили;
В приданое для дочки положили
Бессонные томительные ночи
И встречу дня без радости...

Обратите внимание на то, что более всего страшит сейчас Снегурочку: жизнь пройдет, краса увянет без радости. А настоящая человеческая радость возможна — теперь Снегурочка в этом убеждена! — лишь в любящем сердце:

...Сегодня
На ключике холодном умываясь,
Взглянула я в зеркальные струи
И вижу в них лицо свое в слезах,
Измятое тоской бессонной ночи.
И страшно мне: краса моя увянет
Без радости. О мама, дай любви!
Люби прошу, любви девичьей!

Весна-Красна, желая дочери долгой жизни, оберегая Снегурочку, предупреждает:

Дочка,
Забыла ты отцовы опасенья,
Любовь тебе погибель будет.

Но Снегурочка тут же решительно отвечает Весне:

Мама.

Пусть гибну я, любви одно мгновенье

Дороже мне годов тоски и слез.

Так говорит дочь. А как быть матери? Весна хорошо понимает: любовь неизбежно приведет Снегурочку к гибели. Как же быть?

Будь матерью Снегурочки пасмурная, хмурая Осень или долгая, лютая Зима, они, безусловно, как и ее отец — Мороз, выбрали бы для дочери тоскливое, скучное долголетие. А родная мать Снегурочки решает иначе. На то она и Весна-Красна:

Изволь, дитя, — любовью поделиться

Готова я; родник неистощимый

Любовных сил в венке моем цветном.

Сними его! Присядь ко мне поближе!

Так и хочется воскликнуть: «Внимание! Затаите дыхание, смотрите и слушайте! Вам посчастливилось быть очевидцами волшебства — превращения холодного сердца в любящее!»

Ах, мама, что со мной? Какой красую

Зеленый лес оделся! Берегами

И озером нельзя налюбоваться.

Вода манит, кусты зовут меня

Под сень свою; а небо, мама, небо!

Разлив зари зыбучими волнами

Колышется.

Да, все это может заметить в природе только любящее сердце. Весь мир преображается для влюбленного человека. Какое же это великое счастье — способность любить! Мать Весна радуется, глядя на дочь, что теперь Снегурочка может постичь, испытать весь восторг, всю силу и власть любви:

Снегурочка, прощай,

Дитя мое! Любовным ароматом

Наполнилась душа твоя. Кипучий

Восторг страстей тебя охватит скоро;

Красой лугов и озером зеркальным

Дотолы ты любишься, пока
На юношу не устремятся взоры.
Тогда лишь ты вполне узнаешь силу
И власть любви над сердцем...

Люди обращаются к Солнцу дружным хором — песней,
воспевающей на земле Ярилу, его живительные лучи,
хлебородное лето.

Восходом Солнца, началом нового дня, глубокой верой в
доброту, любовь, радость жизни и закапчивается наша
киносказка.

По тому, как я взволнованно рассказываю о «Снегурочке», как
подробно стараюсь пересказать содержание этой поэтичной
сказки, увязав, насколько возможно, свой рассказ с фильмом, вы,
вероятно, догадываетесь, что «Снегурочка» сыграла и играет
особую роль в моей судьбе.

Да, это так. Вы не ошиблись. И не только в моей судьбе. Еще
в студенческие годы я играл Леля в «Снегурочке» вместе с моей
будущей женой, которая выступала в роли Купавы. И зрители, и
строгие критики единодушно отмечали искренность,
органичность нашего диалога. И удивительного в этом ничего
нет.

Весь «секрет» в том, что мы не играли, а жили этими
образами. Словами великого драматурга клялись друг друга в
верности не только Лель и Купава, но и мы, любящие друг друга
студенты — Павел Кадочников и Розалия Котович.

Порой бывает в праздник так: смотрю я на мою Купаву,
спутницу моей жизни, на народное гулянье в Ленинграде, на
радостные лица людей, слышу задорные, жизнерадостные песни
молодых рабочих парней и девчат и невольно радуюсь.

Лишь добрые и честные способны
Так громко петь и так плясать отважно.
Спасибо вам на песнях и на пляске!
Уж тешиться, так тешиться!..

Это слова не Леля, а Берендея, но ведь говорил же мне еще в
студенческие годы мой учитель, что Берендей — это доживший
до седых волос Лель. Потому я и сыграл в киносказке
«Снегурочка» Берендея. Вот вам и ответ на вопрос, почему я
решил сыграть этого мудрого старца.

Мои дорогие читатели! Если сыгранные мною роли,
поставленные фильмы и эта исповедь помогут вам быть хоть

чутьточку счастливее, буду считать, что жил и живу не даром.

Никогда не старейте душой!

Играть старика развалину мне всегда казалось менее трудным, чем, скажем, создать образ старика крепкого, жизнерадостного, юного душой.

В кинокомедии «Запасной игрок» мне предложили сыграть очень своеобразную по своему характеру роль молодого артиста Светланова.

Мой герой, чтобы проверить убедительность своего поведения в образе жизнерадостного старика ученого, должен по заданию режиссера в течение нескольких недель прожить загримированным и переодетым среди тех, кто решил отдохнуть, путешествуя на теплоходе по Черному морю.

«Пенсия есть, а песен нет! — сокрушается в сценарии Дедушкин. — Хоть бы кто написал песню для пожилых людей. Что-нибудь в таком роде: «А ну-ка, дедушки! А ну-ка, бабушки!»

Вечером в салоне теплохода Дедушкин объявляет путешественникам:

— Сейчас мы будем исполнять танец наших отцов и матерей, наших бабушек и дедушек — вечно юный вальс!

И вместе с молодежью Дедушкин кружится в вальсе.

Утром он собирает на палубе теплохода пожилых людей и руководит зарядкой, поет песню, сочиненную пожилым композитором Днепровским здесь, на теплоходе:

Чем дороги бывают трудней,
Тем шагают настойчивей люди.
И о возрасте наших друзей
Мы не только по паспорту судим...
Нам года — не беда,
Если к цели стремимся большой.
Оставайтесь, друзья, молодыми,
Никогда не старейте душой!

К какой же цели стремится юный сердцем старик? — думаю, приступая к работе. Как соединить в одно целое молодость и старость? Чего он достиг и чему так безмерно рад? На все эти вопросы, с моей точки зрения, очень сложные, мне помогла ответить встреча во время гастрольной поездки по Пермской области.

К городу Перми я отношусь с особой нежностью. Может быть, потому, что недалеко от него провел свое детство.

В хорошем настроении подхожу к Дворцу культуры. Возле главного входа сажусь на скамейку и слышу песню. Она льется из раскрытого окна репетиционной комнаты.

Рядом со мной сидит старичок с седой головой, в черной косоворотке. Он тоже слушает, но как-то особенно, с благоговением.

Эх, ты, вольная моя волюшка!
Эх, ты, жизнь моя молодецкая!
Полетел искать счастья светлого.
Мы найдем, найдем небо ясное,
Где не хмурится непогодушка.
Где живут люди, живут правдою.
Добывают хлеб трудом праведным, —

доносится из окна. Очевидно, идет репетиция самодеятельного хора.

Старик внимательно окидывает меня взглядом и говорит:

— Хорошо поют. Не правда ли?

— Даже очень хорошо, — отвечаю.

Когда за окном становится тихо, старик снова говорит:

— Эту песню, молодой человек, я еще в давнее время слышал. Хорошая она, мечтой рожденная, глубокая. Вдумайтесь-ка в слова: молодец полетел искать такую жизнь, в которой люди праведно свой хлеб добывают! Сколько лет человек мечтал о счастье, слагал вот такие песни со светлыми словами и удивительной мелодией, полной глубокой тоски и безысходности! А сейчас эта же самая песня звучит совсем по-другому. А почему? Потому что люди другие ее поют, счастливые.

Подумав, старичок спрашивает:

— Простите меня за любопытство. Вы — приезжий? Ведь небось наш город плохо знаете?

Молча киваю головой, чтобы не нарушить течения мыслей моего словоохотливого собеседника.

— А ведь если глубоко вдуматься, — продолжает он, — то мы уже почти нашли небо ясное, где «не хмурится непогодушка». С этим на каждом шагу сталкиваемся. Вот мы с вами сидим на скамеечке у дворца, а молодежь в своем — рабочем! — Дворце песни поет. Вот оно, небо ясное! А прежде тут ведь ничего не было, кроме пустыря. Куда рабочему человеку податься было? Либо в церковь, либо в кабак. Так-то... Вы внутри-то были?

— Нет, не был еще.

— Пойдемте-ка со мной. Покажу вам как приезжему все с особым пристрастием.

Старик берет меня под руку, и мы направляемся к центральному входу дворца.

На мой вопрос, кто он такой и как его зовут, старик молодо, звонко смеется. Торжественно поднимает палец над седой головой и отвечает:

— Патриот! Влюбленный в жизнь старик! А зовут меня Иван Семенович.

Мы с Иваном Семеновичем, не торопясь, обходим все помещение дворца. От моего спутника излучается сияние.

Он неподдельно радуется, глядя на сверкающие люстры и ковры, пробует мягкость кресел, всматривается в блестящую полировку рояля в концертном зале. В спортивном зале пробует прочность шведской стенки. А в большой и очень уютной библиотеке говорит только шепотом, как бы боясь потревожить своих молчаливых друзей, отдыхающих на полках.

Входим в танцевальный зал. По паркету, натертому до блеска, вальсируя, кружатся парни и девушки. Мимо нас проносится улыбающаяся пара, затем другая.

Иван Семенович в порыве восторга слишком подается вперед — выходит на линию танцевального круга. Сильный парень, кружа девушку почти в воздухе, нечаянно толкает старика локтем в грудь.

Потирая ушибленное место, старик незлобиво смотрит вслед молодым людям и рассуждает, ни к кому не обращаясь:

— Вот я про это и говорю... Привыкли к небу ясному.... Так-то. А ведь чтоб нам так жилось, чтобы не хмурилась над нами погодушка, сколько выстрадать пришлось! Простите великодушно... Помню, как-то сидел я в одной камере с Яковым Михайловичем Свердловым. В ту пору мы объявили голодовку и уже с трудом держались на ногах. Нас всех поддерживал сверхчеловеческий оптимизм Свердлова. Помню, как однажды он поднялся, чтобы прочитать нам, павшим духом, одно из любимых стихотворений Гейне. Видимо, от слабости у него закружилась голова. Он пошатнулся и очень больно наступил мне, лежащему на полу, на руку. Я тихо вскрикнул, а Яков Михайлович, прислонившись спиной к стене, говорит: «Прости, мой друг, что причинил тебе боль. Пройдут года, и все выстраданное нами...»

Иван Семенович не успевает закончить начатого рассказа. Его прерывает тот самый молодой человек, который и заставил вспомнить далекое прошлое.

— Прости меня, дед, — смущенно извиняется парень. — Я, кажется, здорово зашиб тебя... Наташа, девушка моя, даже разревелась. Своей неуклюжестью, говорит, все настроение испортил. Иди, говорит, извинись немедленно, а то не стану

больше с тобой танцевать. Вот я и пришел.

Парень виновато улыбается и нескладно топчется на месте.

— Иди, иди к девушке своей, — заторопил его Иван Семенович. — Скажи, мол, добрый старик, не сердится, он радуется вашему счастью.

Парень уходит, а Иван Семенович долго смотрит в его сторону. Улыбнувшись, он вытирает платком глаза и говорит:

— Эх, небо ясное! Спасибо тебе, молодой человек, за твою добрую смущенную улыбку. Спасибо за то, что ты вернулся к старику. Спасибо твоей милой Наташе!

А я смотрю на старика в черной косоворотке и думаю: спасибо тебе, юный сердцем человек! Ты помог мне понять Дедушкина.

Получился ли в конце концов в картине образ Дедушкина? Принесла ли работа над этой ролью радость и удовлетворение артисту?

Этими вопросами, думаю, высказываю волнения и сомнения всех моих коллег. Ведь когда на экраны страны выходят наши картины, то мы, кинематографисты, всегда волнуемся за их успех у зрителей. Волнуемся по многим причинам.

На фильм тратится немало средств и около года жизни, а то и больше, всех его участников-создателей. Это ведь только в юности не замечается год, как бы прожит он ни был. А в зрелые годы всегда немного жалко ушедшее время. И особенно жаль, когда оно прожито бессмысленно.

И как горько иногда бывает видеть зрителя, который, войдя в кинозал, не очень внимательно посмотрит на плод нашего труда и скажет: «Барахло!» И вот уже зачеркнут целый год работы огромного коллектива. Одним коротким еловом!

В приливе огорчения и досады хочется такому зрителю напомнить очень хорошие слова Константина Сергеевича Станиславского: «Один из признаков талантливости человека — это способность найти талантливость в другом!»

Сказанное не означает, будто я пытаюсь доказать, что не бывает плохих картин. Конечно, бывают. И все же решусь сказать, что даже из плохой картины можно и нужно извлекать полезное, чтобы не считать часы, потраченные на просмотр, вычеркнутыми из жизни.

Фильм «Запасной игрок» в свое время подвергался во многом справедливой критике. И все же процесс работы над образом Дедушкина принес мне творческое удовлетворение.

После того как картина вышла на экраны, получаю письмо от одного молодого человека шестидесяти восьми лет! Без тени юмора называю его молодым человеком, ведь он написал письмо

в стихах! А «стихи пишут все до семнадцатилетнего возраста, — говорил Лев Николаевич Толстой, — а после семнадцати лет пишут либо те, кто сохранил в себе юношескую непосредственность, либо те, кто приобрел мастерство».

Инженер Чесноков, быть может, большого мастерства и не приобрел в сочинении стихов, но юношескую непосредственность, вне всякого сомнения, сохранил:

Мне сегодня столько лет, сколько вам в кино.
Вы — экранный только дед, я — уже давно.
Я вчера смотрел картину «Запасной игрок» —
Благодарность коллективу в ряде этих строк!
И за то, что выпускает наш «Ленфильм» на сцену,
И за то, что ныне знают стариканам цену.

Чесноков заканчивает свое стихотворение такими словами:

И если снова грянет войны проклятой гром,
Дед тоже не отстанет, и вместе в бой пойдем.
И будем драться смело в решительном бою
За правды нашей дело, за Родину свою!

Как приятно, подумалось мне, что еще один Дедушкин из нашей реальной жизни подает руку Дедушкину экранному, как бы подтверждая: искусство и жизнь неразрывны!

Вот и завершается эта книга-исповедь. А мне кажется, я только приступаю к душевной беседе с очень близкими и дорогими для меня людьми, с вами, моя юные читатели.

Многое хочется рассказать об испытанной временем дружбе с Борисом Андреевым, Сергеем Столяровым, Иваном Переверзевым, Михаилом Кузнецовым, Николаем Крючковым, Алексеем Баталовым, Игорем Горбачевым, Кириллом Лавровым, Вячеславом Тихоновым, Юрием Яковлевым, Евгением Матвеевым, Владимиром Дружниковым, Михаилом Ульяновым, Булатом Мансуровым.

Лучших слов благодарности и любви заслуживают талантливые милые киноактрисы Любовь Орлова, Людмила Целиковская, Людмила Касаткина, Александра Завьялова, Клара Лучко, Людмила Гурченко, с которыми долгие годы меня связывала счастливая творческая судьба.

У каждого артиста своя главная дорога. Один бичует искусством людские пороки, другой высмеивает человеческие слабости, третий рассказывает о любви, четвертый о

всепокоряющей силе ума...

На протяжении всей моей творческой жизни меня всегда привлекали и продолжают привлекать роли, несущие в себе прекрасное: мне всегда хочется играть людей, обладающих большой волей, умеющих любить и ценить жизнь, беспрдельно влюбленных в свое Отечество, честных, прямых, принципиальных. Это вовсе не значит, что я пытаюсь утверждать, будто артист не должен выходить за грани своей главной дороги — единожды создав удачно образ положительного героя, обязан играть всю жизнь только молодых и положительных. Но я глубоко убежден, что не каждый, даже очень одаренный артист, может играть решительно все, что бы ему ни предложили.

В силу своей индивидуальности я, например, так никогда и не сыграл такие роли, какие создали, скажем, Борис Бабочкин или Борис Щукин. Но мне кажется, что, кроме своей наметившейся творческой дороги, у каждого артиста непременно должна быть и своя мечта. Даже если в силу каких-то причин она и не станет реальностью, прекрасно уже то, что она есть. Потому что она зовет вперед, манит, не позволяет успокоиться!

Испытываю чувство удовлетворения от того, что в последние годы моей творческой деятельности смог создать несколько картин как режиссер-постановщик. Это и «Музыканты одного полка», и дорогая моему сердцу «Снегурочка», и психологическая картина «Я тебя никогда не забуду», и «Серебряные струны» — фильм о создателе первого в России оркестра народных инструментов, замечательном исполнителе, дирижере и композиторе Василии Васильевиче Андрееве.

Счастлив, что снимался у превосходных режиссером Андрея Кончаловского-Михалкова в «Сибириаде», у Никиты Михалкова в «Неоконченной пьесе для механического пианино», у Булата Мансурова в фильмах «Сюда не залетали чайки», «Блестящий мир», «Картина», «Поражение», у замечательного литовского мастера Витаутаса Жалакявичюса в «Рассказе неизвестного человека», у чилийского режиссера Себастьяна Аларкона (он вынужден жить и работать в изгнании) в «Санта Эсиеранса» и у многих других деятелей отечественного кинематографа.

Получил огромное удовольствие от того, что рядом со мной на съемочной площадке трудились талантливые актеры Сергей Филиппов, Александр Калягин, Леонид Куравлев, Евгения Симонова, Георгии Тараторкин, Елена Соловей, Маргарита Терехова, Евгения Филонова, Александр Кайдановский, Ирина Малышева, Александр Галибин, Елена Драпеко, Евгений Жариков, Евгения Глушенко и другие. Их высокий профессионализм помогал мне еще ярче осветить грани характера моих героев.

Что пожелать этим и многим другим талантливым актерам советского кино? Конечно же, удач, творческого горения, мастерства, помноженного на трудолюбие.

Оставайтесь, друзья, молодыми, никогда не старейте душой!

Фотографии



Павел Кадочников. 1950 год.



Отец П. П. Кадочникова — Петр Никифорович.



Первая учительница Павлика Кадочникова — Анто́нича Васи́льевна Харлова (слева на переднем плане).



*Павел Кадоchnikов в роли Леля в спектакле «Снегурочка»
Нового ТЮЗа, Ленинград, 1935 год.*



Павел Кадочников в роли Владимира Старицкого в кинофильме «Иван Грозный».



Розалия Котович в роли Купавы в спектакле «Снегурочка».



Кинорежиссер Сергей Михайлович Эйзенштейн.



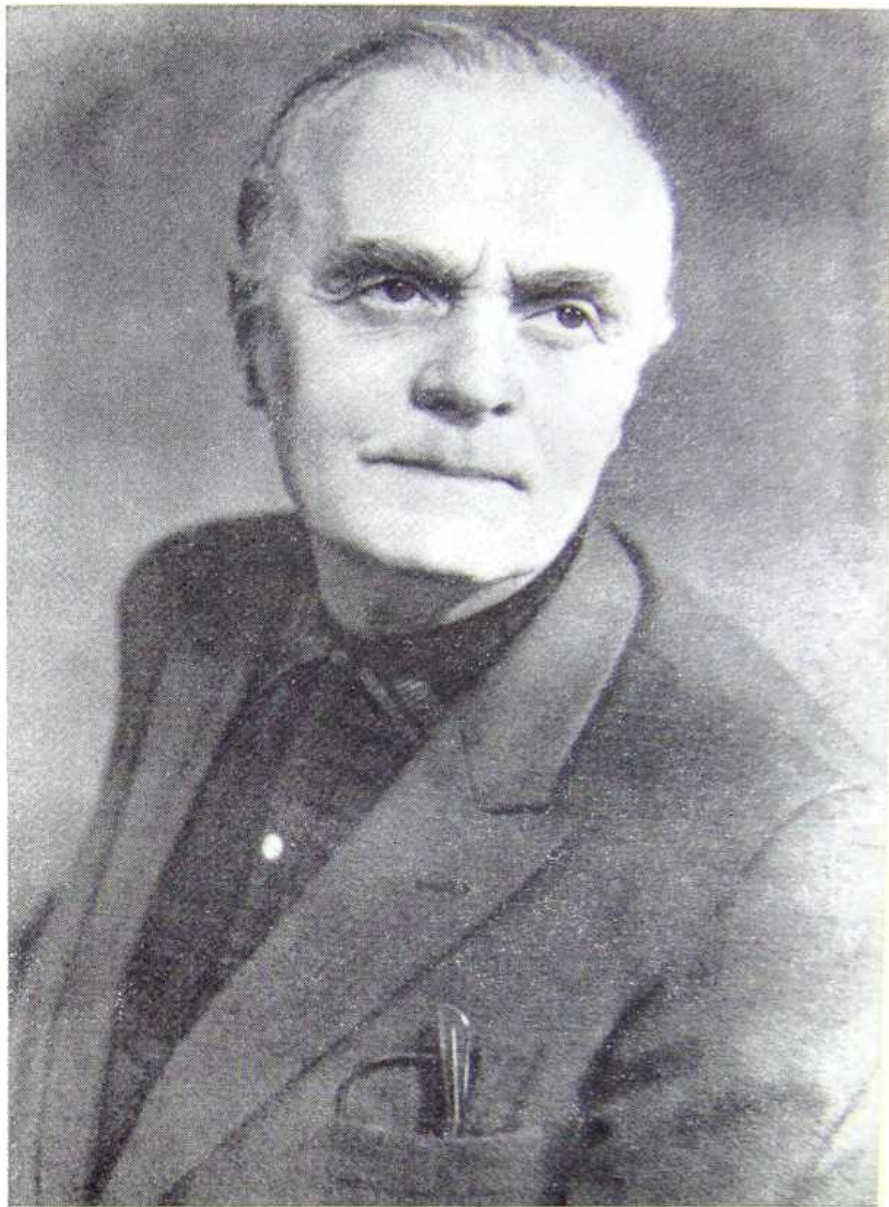
Народная артистка СССР Любовь Петровна Орлова.



Народный артист СССР Борис Петрович Чирков.



Известный мастер кинокомедии Сергей Филиппов.



Один из старейших актеров советского театра и кино Федор Михайлович Никитин.



Людмила Целиковская. Ленинград. 50-е годы.



Фотография на память от кинорежиссера Сергея Посифовича Юткевича. 1940 год.



Киноактер Иван Переверзев.



Павел Кадочников в роли Ленки Сухова в фильме «Яков Свердлов».



Павел Кадочников в кадре из фильма «У них есть Родина».





◀ Л. Целиковская и П. Кадочников в
 кадре из фильма «Повесть о насто-
 ящем человеке».



В роли Алексея Федотова в фильме «Подвиг разведчика».

Писатель А. Н. Толстой вместе с кинорежиссерами С. Васильевым (слева) и Г. Васильевым (справа) обсуждают сценарий кинофильма «Оборона Царицына». Ленинград, 1938 год.



Кадр из фильма «Далеко от Москвы».



Людмила Целиковская и Павел Кадочников в музыкальной кинокомедии «Антон Иванович сердится».



Актер и кинорежиссер народный артист СССР Евгений Матвеев.



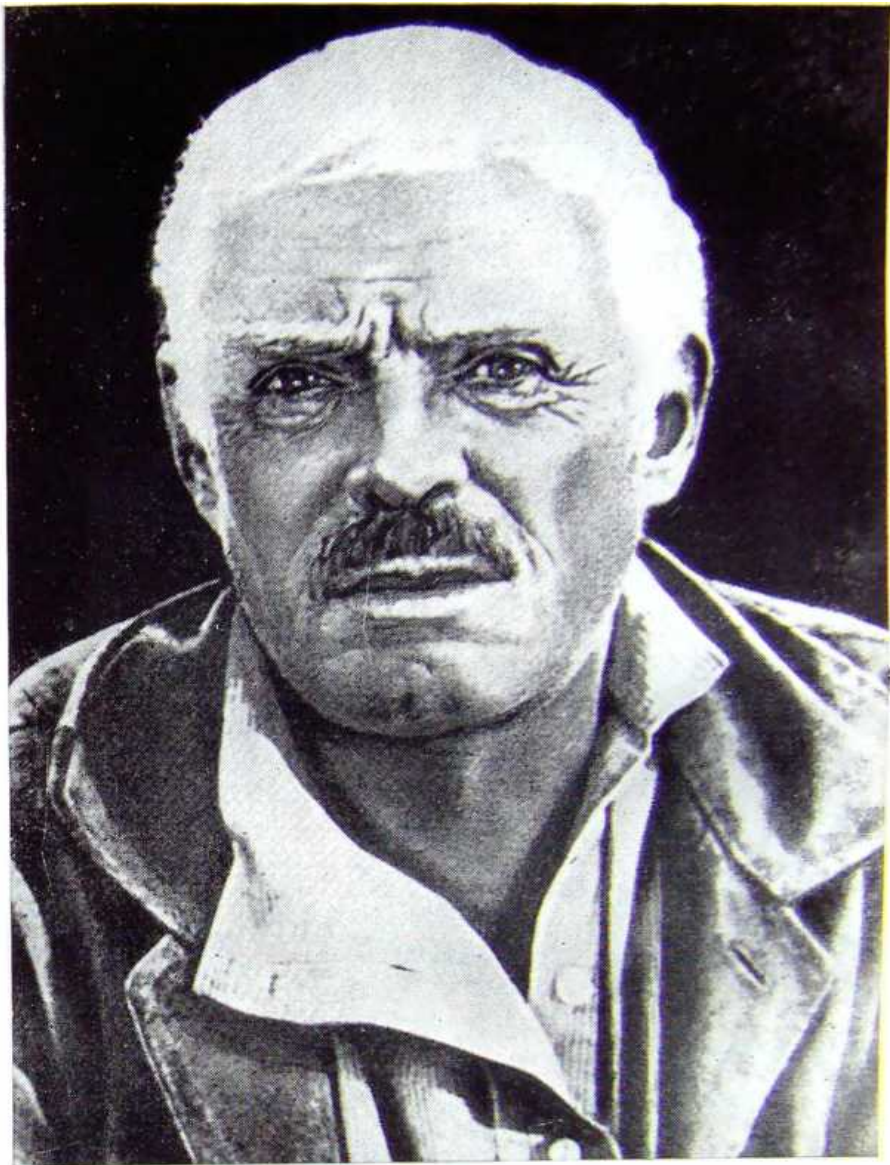
Народный артист СССР Юрий Яковлев.



Киноактер Михаил Кузнецов.



Автограф для молодых.



В фильме «Сюда не залетали чайки».



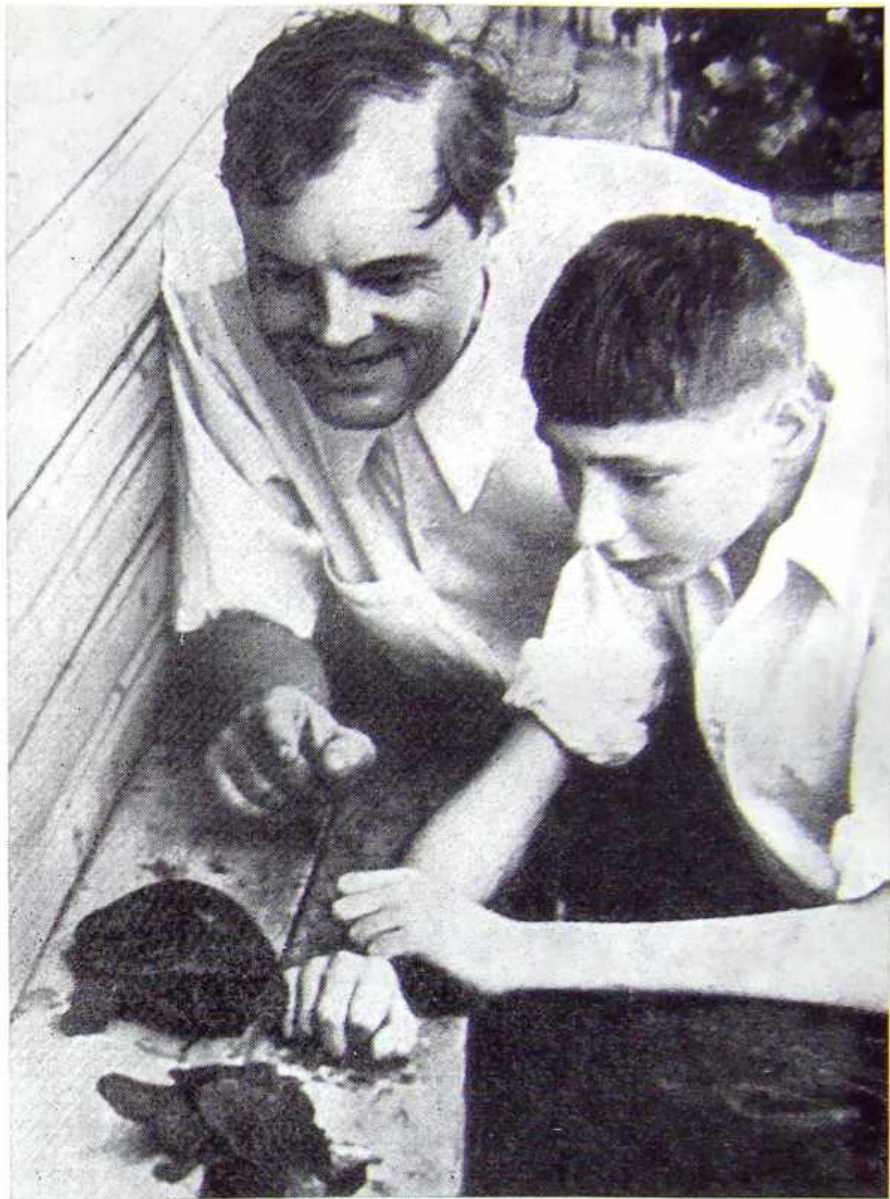
По стопам отца пошел и сын. Петр Кадочников в фильме «Благочестивая Марта».



Наталия Кадочникова, внучка Павла Петровича, в роли Анны в фильме «Серебряные струны».

На съемочной площадке фильма «Я тебя никогда не забуду».





С сыном Петей.



На отдыхе в кругу семьи.



Рыбалка была любимым видом отдыха.



Любовь к родной природе Павел Петрович пронес через всю жизнь.

ПАВЕЛ КАДОЧНИКОВ



ОСТАВАЙТЕСЬ
МОЛОДЫМИ



90 КОП.